

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: **О. Н. Вялкова**

Корректурa: **Л. Н. Подистова**

2/2018

Содержание

ПРОЗА

- Михаил ТАРКОВСКИЙ. Что скажет солнышко?** Повесть.
Окончание. 3
Антон МУХАЧЁВ. Два глотка. Рассказы. 43
Игорь МОСКВИН. Несколько мгновений истории. Миниатюры. 57

ПОЭЗИЯ

- Мария ТЕПЛЯКОВА. «Господи, я трава...»** Стихи. 35
Виктор САЙДАКОВ. Снегирь. Стихи. 51
Святослав МИХНЯ. «Июля крапивное жжение...» Стихи. 92

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Владимир ЯРАНЦЕВ. Пьеса Владимира Зазубрина «Подкоп»: эпилог судьбы.** 97
Владимир ЗАЗУБРИН. Подкоп. Драма в четырех действиях, восьми картинах. 109

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Анатолий УЗДЕНСКИЙ. Закадровый текст. Актерские байки.** 169

Книжная полка

- Владимир НИКИФОРОВ. Русский хор Геннадия Прашкевича.** 179
Лариса ПОДИСТОВА. «Книжная Сибирь». 181

Картинная галерея «Сибирских огней»

- Максим УМБРА. Сибирская палитра Николая Долгова.** 187

- Авторы номера* 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала "Сибирские огни"» М. Н. Щукин.

Михаил ТАРКОВСКИЙ

ЧТО СКАЖЕТ СОЛНЫШКО?

Повесть*

Старшой

Потом всё голубели-голубели снега, все углублялась канава дороги, и неистовой пуржило на тепло, и лютовало в морозы. Казалось, чуть звезданет, чуть отодвинется облачная вьюшка-задвижка — и стремительней улетит тепло, ухнет перепадом от минус пяти до пятидесяти.

От нас уже мало толку было, да и Старшой все меньше ходил пешком и больше ездил и раньше приезжал. Дольше стали темные вечера. Дольше лежание в кутухах.

После большого и трудного круга вернулись мы на базу, и на следующий день Старшой устроил выходной. Утром никуда не пошли. Хотя и погода остепенилась. Зима набрала ход, и стояла такая серединка: откат от морозца на тепло, но только теплом стало двадцать пять.

С утра Старшой встал не спеша, и мы хорошо слышали его печные манипуляции и видели, как поначалу нехотя пошел дым из трубы, потом обильно и бело повалил, а потом, взвив хлопья сажи к задумчиво-голым лиственницам, задрожал горячей струей. Столько слоисто-плотного снега лежало на крыше, что труба еле торчала из закопченной снежной воронки. Воронку эту я изучил, забравшись на крышу по снежному мосту с пристройки.

Расслабленный Старшой первым делом особенно сытно накормил нас, с вечера сварив нам полный добавочный таз. Совпало, что и у Курумкана оказался выходной, точнее полувыходной, и тот был на связи, с обеда собираясь «прошвырнуться по короткой дорожке». Чаепитие Старшого шло за разговором, смехотворность которого просто поражала. Обсуждалась способность зверья соображать.

— Да чо там говорить! Ослу ясно, что они не хуже нас шарят, — истошно верещал Курумкан. — Возьми, к примеру: вот снег оглубел... Как

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2018, № 1.



соболь знает, что его собака не возьмет? Он же, гад, верхом прошел пару кедрин, а потом прыг — и ка-а-ак по полу вчистит!

— Знат, сто кобель не возьмет! — продебезжал дед с позывным Щучье.

— Дак я и спрашиваю, дядя Миша, как он знат-то?

— Да он, паря, лучше тебя знат...

— Ясно, дядя Миш! — сказал Старшой. — А как Таган знает, куда я пойду на развилке?

— Мужики, вы чо как маленькие? — вмешался бубнящий, будто в колоду, Дашкино. — Вы в курсе, что медведь головой пробует толщину крыши в берлоге? Привстает и пробует! На случай, если через крышу катапультироваться придется!

— Да ладно те, Дашкино! Ты с нар давай на путик катапультируйся! А то заваялся.

— Ты правильно говоришь, Даскино! — прокричал дед Щучье. — Пробует: крепка, нет? Мы раз брали на берлоге, дак он как тёрт сквозь крысу вылетел, аз землю взвил! Это у вас ум. А у ево понятте.

— Да чо ты говоришь — медведь... — засоглашались мужики. — А сохат?

— А ускан? — крикнул Щучье про зайцев.

— Ладно, вас не переслушаешь, — сказал Старшой, попрощался и вышел на улицу с пилой.

Он любил березовые дрова за жар и несмолистость. За лето просохшее полено шло с растопкой — завитой каменной берестиной, которую Старшой с хрустом отрывал, и этот утренний звук мы хорошо знали. Береза — особый разговор. Бледно-желтая затеска на ней странно глядится среди снега. Верхний слой бересты отстает лопнувшем пояском, и нежные ошметочки, кудряшки-гармошки теребит ветром. Бывает и поплотней слоёк, в розовинку. Мы любили кусать, играть ими и, ткнув носом под отставшую шкуру, удивляться, какая шершаво-прохладная сама береза и будто влажная. До чего нежна природа, пока не оступишься!

А теперь все по порядку. Хозяйственная возня отвлекла меня от тягостных раздумий. По случаю праздника мы с Таганом получили по мерзлой щучьей голове, которую грызли, кровя десны, но с азартом. Таган грыз у избушки рядом с колочной чуркой, а я отбежал подальше, добыв сразу двух ушканов: был застрахован от нападения Тагана на случай экспроприации у меня щучьей головы и присутствовал при хозработках на приизбушечной территории. Потому что Старшой пошел туда же с пилой и всю отаптывал березину. Я расположился на снегоходной дороге метрах в двадцати, под другой березой, так что видел Старшого с его приготовлениями, контролировал Тагана и мог в случае его нападения в сжатые сроки достичь Старшого, поскольку и туда вела дорога.

Удивительно, как хороша в выходной щучья голова, даже самая мерзлая, и как странно бела береза, и как светло-желты опилки на снеж-

ном фоне! А звук пилы на морозе особенно шелестящий, дребезжащий и словно обернут во что-то шуршащее, подумал я и даже пожалел, что сейчас нет такого мороза.

Чтобы лучше понять дальнейшее, надо усвоить три обстоятельства. Одно из них — отношение собак к лесоповальным работам. Собака совершенно не боится падающих лесин и даже, наоборот, вертится рядом, потому что... Вот никогда не догадаетесь! Собака не боится такой лесины, потому что у нее четкая увязка с добытым, но застрявшим в ней сободем. И когда охотник валит кедр, пихту, березу, пес, едва дождавшись, когда лесина ляжет, уже сует туда свой нос. А иногда и не дождавшись. И неважно, что лесина голая и с виду пустая, — важнее правило: проверь.

Теперь второе, очень важное обстоятельство, о котором я вам уже рассказывал. Оно состоит в том, что соображения, куда какая полетит лесина и обо что сыграет, или как вагой задрать снегоход, и как работает двигатель внутреннего или внешнего сгорания и прочие кривошипно-шатунные штуки, — так вот, эти соображения я называю «коленвал-козак-капуста» и болею от них неизменно. Разве только могу объяснить, куда идет шатун. Он идет в избушку хрюпать меня и охотника.

И наконец, три: собаку нашего воспитания, сидящую на расстоянии от хозяина, ни окриком, ни угрозой нельзя заставить переместиться или отбежать с места. Вы скажете: ее можно позвать. Я отвечу: да, можно позвать голодную собаку, можно позвать собаку, стосковавшуюся по ласке или соболиному следу, можно многое. Но позвать собаку, которая ест «щуччубошку», нельзя, потому что она решит, что щуччубошку хотят отобрать.

Предчувствую упреки, что, потеряв брата, я затеял игры в щучью голову и погряз в литературном созерцании. Так вот, такой вывод суть полное непонимание собачьей сути, а суть эта в крайне веселом нашем нраве, который по сравнению с нашей трудовой и, я бы сказал, даже героической составляющей выглядит по-детски, хотя на самом деле лишь уравновешивает одно другим. И это врожденное веселье и есть ядро нашего Собачьего, за которое нас любят, подзаряжаясь искренней нашей энергией. Хотя много всего в нашем характере. Например, мы обожаем валяться-извиваться в снегу и смешить не знающих, что это обычная чистка одежды. При этом наряду со снегом можем выбрать в качестве коврика мерзейшую пропастину-тухлятину. Рыжик, правда, вычитал, что это для скрытия хищного запаха от будущей жертвы. Ложь. Просто иногда хочется в дряни поваляться. Не все ж чистеньким бегать.

Так вот, режущий звук бензопилы... Вонькое облачко. Мерзлое дерево. Острая цепь. Дрожь по стволу, которую и на расстоянии чувствую. Слабенькое, будто севшее зимнее небо.

Старшой в куртке-суконке, оранжевая бензопила и два дерева рядом: береза с развилкой у вершины — левее и елка — правее. Он взялся





валить березу. Отоптался. Поражаюсь, конечно, как он все делает. Мастерски. Со стороны, куда валить, то есть с моей, он двумя резами выпилил дольку и выкинул ее моментальным движением шины и не глуша пилы. Потом заорал: «А ну, валя оттуда!» А я положил полусъеденную голову, куснул и пожевал снег, повияля хвостом и снова взялся за голову, крепко сжав лапами.

Зазудела, взревев, пила, и Старшой заорал: «Серый! Серый, блин, шшел отсюда! Серый, ко мне! Серый, козел!» Я продолжал держать голову, а когда лесина повалилась, отпрыгнул, предвкушая, как сунусь в нее в поисках белки или соболя. И вдруг что-то сбилось в мире — и падающая лесина замерла с морозным треском, и раздался взрык Старшого, переходящий в кряхтящий полустон. Старшой не бежал к вершине, высматривая соболюшку, а лежал на спине с перекошенным лицом, и левая рука сжимала и разжимала снег.

Мутит, но попытаюсь объяснить по порядку. Береза была с развилкой на конце. Не довел ли Старшой рез, отвлекаясь на меня, мерзлая ли лесина, будучи кривоватой, раньше времени сыграла-скрутилась, подорвав волокна и уйдя в сторону от места, куда целил Старшой... Знаю одно: когда она пошла, он глядел на меня и даже кинул в меня верхонку, а в этот момент лесина упала развилкой на другую березу и, съехав по ней, соскочила с пенька и уткнулась в снег под углом. Всем весом. Правая нога Старшого удобно стояла у шершавого комля елки, он не успел ее отдернуть, и ее припечатало всей силой падающего мерзлого дерева.

* * *

За что люблю этих мужиков и с ними пойду хоть куда, хоть под пули — Старшой все как положено сделал. Комар не подточил. Вначале его, видимо, мутило от боли, но он чуть отлежался, дотянулся до пилы и завел. Все ступеньками делал: дернул — не завелась, сыграла на весу без упора, рывка не получилось. Полежал, кряхтя, что-то приговаривая, морща побелевшее лицо. Снова прилачился, дернул и, заведя, чуть подержал на груди, откинувшись на снег. Потом стал пилить, но смотреть было страшно: этот зуд, гулко отдающийся по стволу, упирался, лился в зажатую мякоть ступни. Чтобы легче расшатать, ослабить стволину, он сделал два реза, две чурки, два колена, и самое трудное настало — выбить их свободной ногой, выломить углом и мгновенно вытащить ногу и откатиться. Из-под березы, которая всем весом съедет, дообрушится. Все сделал. Выкатился. Попробовал встать на четвереньки и ползти — нога не давала, цеплялась. Тогда перевернулся на спину и полз на локтях, подняв ногу, еще и пилу тащил. Они все в этом. Такие мужики. Еще дверь в избушку открыть надо было. Но дополз.

Ногу отеком разбомбило. Резал бродень. Нас позвал. Я лизал ногу. Кусок оленя. Лилово-красное.



Заполз на нары и включил рацию. Еще недавно все орало как дурные, а теперь стояла тишина, только что-то мерно тикало да переговаривались уродливо-утробно радиолюбители: «Батарея, Батарея, я Турбина, как принял?» Наконец Старшой докричался до женщины с позывным Улукан, которая сказала:

— Да я кого вызову? Сама сижу тут. Нас тут семь домов. Только вечером связь по полям.

У Старшого был младший брат Валя — давно горожанин и коммерсант. Он дал Старшому на охоту свой спутниковый телефон. Телефон брал сигнал лишь на открытом месте. Старшой уполз на берег и вызвал санзадание. Нас увезли в район.

Галетка

Старшому лечили множественный перелом стопы, а нас с Таганом главврач отправил в поселок на проходящем вертолете. Связали веревкой, и мы были как дружка веников. Вертолет прилетел утром потемну и подсел только ради нас. Нас выкинули, и мы ломанулись, чудом нигде не зацепившись, и только у нашей ограды закрутились за штaketину, где нас отпугал маленький Никитка, идущий в школу и крикнувший маме: «Папа, наверно, Рыжика с собой в больницу взял!»

Этот путь в дружке с Таганом был для меня особым. Таган наверняка не придавал этому значения, но я внутренне сиял. Что Таган, при всем своем, как мне казалось, презрении ко мне, оказался увязанным со мной воедино и вынужден был послушно подергиваться на мои неуклюжести.

Старшого привезли вскоре с загипсованной стопой. Догадываюсь, в каком он пребывал убийственном огорчении, когда пропадал сезон и надежда на заработок. Не считая нас, на его шее сидели жена, двое детей — дочка и сын — и прорва крученых родственников.

Прошел Новый год. Капканы стояли непроверенными второй месяц, и вдруг в начале января после перерыва в несколько лет приехал брат Валя и взялся «запустить капканья». Приехал он на своем снегоходе из большого поселка, куда, в свою очередь, приехал по зимнику на своей же машине, и с прицепом, у которого по дороге что-то оторвало. В тайгу он тоже собирался на этом снегоходе — не в меру разлапистом, малиновом с искрой и с кучей штук, которыми так гордился, что рвался в бой. У Вали было условие — берет собаку, а без нее не поедет: то ли боялся, то ли хотел компании. Понимаю и поддерживаю: с собакой в тайге веселей.

В эту пору, а стоял морозный январь, собак не берут: толку от нас нет, только лишняя готовка да постоянное ожидание, если далеко ехать. Новые снегоходы, проскакивая наледи, несутся с огромной скоростью, которая теряет смысл, если все время вставать и ждать собаку. Старшой не хотел кого-то из нас отправлять, но Валя уперся и пришлось отправить меня. Я другого и не ждал. «Нашли молодого», — поворчал я для форсу,



потому что, как всякая молодая собака, поддерживал любой поход и стремился в дорогу. Предусмотрительный Старшой отправил Валю в паре с Курумканом, который промышлял выше нас по реке. Встал вопрос: как со мной быть, чтоб не ждать? Старшой и тут нашелся — дал огромный сундук, который якобы давным-давно собирался забросить на базу «хранить хахоряндии», да и «сидеть кудревастьенько». В общем, меня предполагалось везти в сундуке. Хорошенькое дельце. В сундуках не ездили! Как не вспомнить Рыжика... Поеду, как хахоряндия. Хоть не как веник.

Валю снарядили нарточкой, куда воткнули сундук. Курумкан вез бензин в канистрах — полные сани. Меня решили сначала «добром прогнать», чтоб успокоился и не норовил «куда-нибудь дунуть и влететь Коршунятам в капкан», а потом уже упечь в сундучину. Старшой, надо отдать ему должное, натолкал туда сена и еще мерзлого налима бросил («чтоб не скучал»).

С утра подъехал Курумкан, и вот стоим у ворот. Курумкан — на своем белом исшорканном «армейце» со стеклом, зашитым проволокой, и с багажным ящиком, грубо свернутым из жести. И к ящику приклепан чехол для топора. Камусные лыжи засунуты под веревочку сбоку вдоль подножки. Лежат как оперение — шкурой наружу, пятнистые, выразительно-живые. Валентин — на малиновом огромном агрегате с широченым разносом лыж. На что я пень в технике, и то подумал: как он поедет по старшовским дорогам? «Армеец» Курумкана пах железной окалиной и подгорелым маслом. Валин «малинник» распространял сложнейший букет: запах неизношенной резины, тоже масла, но какого-то вкусного, добротного, как выяснилось, специального американского, с запахом клубники. Пах пластиком и еще чем-то... Наверное, достатком, подумал я. Поджарый Курумкан пах выхлопом, костром и шаньгами, а располневший Валя — ароматической салфеткой и утренним вискарьком.

Дальнейшее пропускаю, ибо был упакован в сундук и выпущен, когда съехали на реку. Сначала передом пошел Курумкан, несмотря на поползновения Вали «дать копоти» на своем «малиннике», который был в два раза мощнее, в связи с чем называлось умопомрачительное количество непарнокопытных: «кобыл», «кляч» и «коней», которые, как я понял, как раз с мощью и связаны.

Курумкан ехал передом, пока была дорога, а когда пошел целик, пустил многокобыльного Валентина, настрого приказав останавливаться только на берегу и залавке*, потому что вода под снегом, и что если вода, то «тапок в пол — и вперед». Меня выпустили. Я бежал, нюхая едкую клубнику и вспоминая рассказы Тагана о прежних временах. Выходило, что раньше при встрече охотники говорили о лыжах, нартах и кулёмках, о бересте, камусе, дегте, а теперь — об особенностях бесконечного числа снегоходов, бортовых каких-то компьютерах, сканерах и о том, сколько они стоят. И мне казалось, что если разговорами о коже и дереве охот-

* Залавок — речная терраса.



ники поддерживали теплый собачий мир тайги, то в последних дебатах не было ни объема, ни привязки к месту — лишь стынь технологий и уход от смыслов.

Валя решил резануть с мыса на мыс, благо у «малинника» было «дури немеряно», и он так «натопил», напустив клубники, что превратился в сизую точку. Потом вдруг остановился, и я услышал ругань подъехавшего Курумкана: «На хрен встал здесь? Вода кругом! Видишь, вон полынья у мыса!» Валя ответил: «Да лан, Толян, давай пофоткаемся — смотри, место козырное! Мы в том ручье с батей медведя добыли». Картина и впрямь ворожила: кедровый увал, волокнистая полоса пара из полыньи и желтый свет солнца, вышедшего из-за сизого длинного облака.

Под снегом была вода, и я прилег выкусить лед, налипший на шерсть меж подушек. Валя достал фляжку, но Курумкан пресек порыв, сказав, что ехать и «все потом». И, мол, все, хорош, поехали. Валя рванул, уйдя в точку, а Курумкан с тяжеленным возом засел в наледь. Вскоре явился Валя и попытался вытащить Курумкана, но зарылся еще хуже. Булькал, истощно газуя в зеленую траншею. «Не газуй, бляха!» — орал Курумкан. Вале мешал карабин с оптикой, он его то снимал и втыкал в снег, то надевал, и на прикладе образовалась ледяная блямба.

Курумкан взял бразды, сел на «малинник», потихоньку раскатал колею и, моментально освоившись на нем, вытащил и свой снегоход, и перецепил сани... На чем заканчиваю, ибо началась коза-капуста. А главное, что Валя хотел похвастаться «малинником», а оказался посрамлен. Только и сказал: «Да, вот что значит профи!» И, полный, стоял кулем в пухлом сизом костюме с кучей карманов и ярко-желтых молний. С оленем, выштопанным желтой ниткой. Олень был не северный. Марал, наверное. Или изюбряк.

Наконец выехали на твердое, околотили снегоходы и посадили меня в сундук, так что дальнейшее путешествие я могу описать лишь по реву и дерготне Валиного снегохода и крикам.

— Ты чо, блин? Смотри хоть, куда едешь-то. Маленько в дыру не влетел! Здесь же промывает!

Или:

— Ё-о-о-о! Стой-стой-стой! Валя, ты чо газуешь?! На хрен ты полез сюда?! Не видишь — зеленое все, водищу выдавят, морозы, лед садится. Ямки заливает... Выпустить, может, его?

— Да на хрен? Пускай сидит. Хе. Новая порода — сундучная лайка. Кстати, как агрегат?

— Твой-то? Зверь.

— Покупай!

— Гузка узкая. А ты продавать, что ль, надумал?

— Ну. Чо, погнались?

В конце концов меня выпустили, и мы заночевали в избушке. Наутро все повторилось. В общем, дотрясся я в сундуке до нашей базы.



Вечером Курумкан с Вале́й праздновали приезд, а утром расстались. Курумкан уехал дальше, а мы с Валентином двигались уже тайгой, проверяя и закрывая ловушки.

Валя ехал трудно. Скоростной «малинник» с широким разнесом лыж не вписывался между пихт и кедров и все время застревал. На дорогу понагибало березок, одавленных снегом. Вале приходилось слезать и, утопая в снегу, рубить мерзлые арки. Топор звенел, отскакивал и однажды вылетел из руки в скользкой рукавице, и Валя его еле нашел в пухляке. Потом наехал на согнутую дугой березу и повис лыжами. Береза лежала — слева комель, справа вершина. Он срубил правее дороги, и обрубок ствола, на котором висел снегоход, вырвался, выпрямился и сильнее снегоход задрал.

Одет Валентин был слишком тепло для леса. Он то и дело садился на сиденье и, сняв стеганый треух, тяжело дышал. Тек пот с красного лица. Лицо полное, круглое, с двойным подбородком. Звал меня, гладил, качал головой: «Смотри, упрел как... А у тебя-то четыре ноги? Четыре? Да? А какая морда у тебя... Какой нос кирзовый, хорошая собака, хорошая... Найдешь мне соболя? Или глухаря? Найдешь?»

Глухаря я нашел — прямо на нашей дороге на кедре. Валя добыл его из своего оглушительного карабина. Подбежал радостный, возбужденный. А дальше... Дальше произошло событие незначительное, но для меня символичное. Все вы знаете картину отличившейся собаки, выражение ее ворсистой морды, открытой улыбающейся пасти и сияющих радостью глаз, когда она стоит по-над добычей и, уже оттрепав ее, нет-нет да пожамкает и лизнет. И вся ходит ходуном, а когда глухаря или соболя подберут и держат на высоте, прыгает, пытается достать — и как наполнено счастливое это прыганье трудовой гордостью!

Валентин стал меня хвалить, и я, зная, что все правильно сделал, из вежливости повилял хвостом. А раньше, в самый разгар возни-прыганья, Валентин, собираясь подобрать глухаря, вдруг зашарил по многочисленным карманам, достал галетку и сунул мне в рот. Я был настолько разгорячен, что поначалу не понял, в чем дело, и отторг галетку даже не подержав во рту, хотя, возможно, это выглядело, что я выплюнул, выкинул и отверг, а она отлетела — никчемная. Хотя в другой раз я бы полцарства собачьего отдал за такую галетку.

Валя, видимо, вычитал в каком-нибудь руководстве про «поощрение питомца лакомством» и, подобрав галету, несколько раз попытался, придерживая меня, всучить, всунуть ее в горячую пасть, где и зубам и языку было не до галеток, и я помню, язык ее даже выталкивал — настолько несовместима была эта галетка с запахом глухаря, моим азартом и всем духом происходящего. С грозным и героическим падением глухаря, хлопаньем крыльев и сломанной веткой. И с моей нервотрепкой, ибо я переживал, не смажет ли Валя, зная, как он управляется с «малинником», и опасаясь, что с новым, девственным карабином будет то же самое.

Да и оптика вызывала сомнения на таком коротке, а Валя полчаса снимал с нее чехольчики и совал по карманам, борясь с молниями.

Старшой в жизни не тыкал нам «лакомства»: во-первых, потому что для него это наверняка отдавало инструкцией, а во-вторых, потому что он полностью разделял наш восторг добытчика и был его частью, а подачка выглядела кощунством. Да и несоразмерен красавец глухарь с галеткой. Калибр разный!

Задним числом я не раз пытался представить, как это выглядело со стороны. Как Валя пытается мне засунуть галетку и вместо порывистого, хватающего, вырывающего движения рта — встречает отторжение. И как меня прострелило детским ощущением — когда суют таблетку и я ее выплевываю, выталкиваю языком... И как потом жалко стало бедную галетку, но я недолго грустил, зная, как прекрасно съедят ее мыши.

Почему я так заостряюсь на этом эпизоде — потому что мне докладывал об этом Кекс, старшовский кот, к которому перехожу, поскольку больше о походе с Валентином сказать нечего. В его описание я встрял за-ради галетки. И выходит, она свое взяла. Так вот, у Старших (так буду называть семейство Старшого) три кошки: Мурзик, Пуша и Кекс, в чьем названии есть детский след, и это понятно. С Кексом мы вместе росли. Нас с Рыжиком щенками Тетя Света затаскивала домой, Кекс тогда был котенком, и мы играли безо всякой неприязни: в ту пору в голову не приходило собачиться (и кошачиться) из идейных соображений. Оба были мировоззренчески девственны.

Во мне дело или в Кексе, но совместные игры не забылись и, бывало, встретившись на улице, мы с Кексом общались запросто, если, конечно, поблизости не было Тагана. Кекс эти беседы любил, тянулся к Собачьему, а я имел политический интерес: поскольку в избу меня не пускали, через Кекса я мог узнавать, о чем говорится, так сказать, в эшелонах власти и к каким переменам нам, собачьему люду, готовиться.

Так вот, по приезде, точнее, прибеге в поселок, а прибег был потому, что сундук сгрузили и я бежал, а Валентин ждал... так вот, по прибеге в поселок по волнам, исходящим от Старшого, а собаки к волнам чутки, я понял, что нечто происходит. Вскоре встретил Кекса, который доложил обстановку. В частности, из его слов следовало, что Валентин на меня пожаловался, что, мол, да, хороший кобелек, рабочий, глухаря нашел, но и тоже фрукт, пренебрег его даром и повел себя невоспитанно, нос задирает и так далее. Я уверен, Кекс накрутил отсебятины и таким образом разрыхлил почву для дальнейших отношений. По обыкновению, начал ратовать за Собачье и повел разговор в вечном своем духе: «Эх, ну заставьте вы меня на охоту пойти! Конечно, мы тут зажирили...» — и так далее. Мол, собакам хорошо: в тайгу ушли, а у него забот и ответственности полон рот, и вроде как мы легкомысленные, а он такой отягощенный.

И грозно добавил:



— Нынче, точно, соберусь. Так что готовьтесь. — И уже другим тоном, будто предыдущую тему он отработал для формальности: — Да, дак вот, про галетку-то все цветочки, а оказывается, Валя-то неспроста приехал и дело пахнет... В общем, это больше вас касается. Дак вот...

В этот момент Кекс, зашипев, взвился по столбу и шмыгнул под крышу веранды, потому что раздался громовой скрипотопот Тагана, вернувшегося с охраны западных границ нашего участка.

Схватив и завалив меня, Таган зарычал:

— Чо с ним тер? Смотри, еще раз увижу — даже на варежки не пойдешь!

И Таган выронил мой загревок примерно так же, как я знаменитую галетку, и, ядром стрельнув за ворота, уже задирает ногу над чуркой. Зыркнув на пробежавший кортеж едущего по воду младшего Коршуненка, состоящий из трех псов — двух нормальных и одного хаски, рявкнул:

— Чо пялишься? Воротьев не видел? Вали давай! — И взрыл снег задними лапами, засыпая встречные аргументы.

Весь вечер я гулял и размышлял над выплюнутой галеткой. Как быть в таких случаях? Может, брать, чтоб не обижать? не выглядеть чисто-плюем? Ведь Валя отблагодарить хотел! Как мог. Но как объяснить, что я не за галетку работаю? Не знаю. Мне кажется, тут вера первому движению сердца...

Я проходил мимо веранды и услышал хриплый нарастающий мяв. Кексик опрометью бежал мимо с подвисшим ухом и расцарапанной мордой.

— Короче, мне тоже нагорело... от Пушки и Мурзика. Теперь, если понадобится — выйду, придавишь меня, я заору. Ну и поговорим. Только не сильно дави-то. Давай! Через пару часиков погавкай.

Я погавкал в указанный час. Таган как раз убежал на охрану юго-восточных границ. Там проезжали трактора с деляны и елозили хлыстами. С Кексом я все сделал как договаривались.

— Помогите! Задавили!

— Попался, козел! Не дергайся! Чо тут шарисся?! Нашел диван! — сказал я и замер: вылетел Таган, скакавший с обходом.

— Чо он там? Буксует? Помочь?

— Да не, дя. Ровно все. Разберусь!

— Дави его на хрен! Я погнал тогда: там старшие Коршунята оборзели.

В общем, Кекс просипел, что Валя приехал неспроста, что продает «малинник» и что «малинником» дело не кончается.

— Да что там такое?

— Не переусердствуй! Дорвался... — сипнул Кекс. — Брат хочет долю продать! Все, до связи! — вырвался Кекс и с криком «Задавили!» взмыл под крышу веранды.

Вечером братовья парились в бане. Младший бегал в снег, а Старшему не позволяла нога, но оба так базланили в предбаннике, что мне

не стоило труда расположиться поодаль с верным видом и все слышать, тем более и Валя после похода стал мне «немножко хозяин».

Он был довольно нудный брат и буквально заталкивал в Старшого свои «сгустившиеся обстоятельства», время от времени прерываясь: «Давай, накладывай», и, выпив, продолжал возбуждаться и резиново нудить, как у него «все рухается» и как его прокуратура «крепит».

Короче, история такова. Валя еще по молодости уехал в город и пустил там корни на охотничьей почве. У него на зоне был знакомый майор, благодаря которому Валя наладил выпуск капканов и аквариумов и открыл два магазина — охотничий и зоо, где у него, по словам Тагана, даже ручной крокодилчик жил. Благодаря, кстати, которому я все это и запомнил. Крокодилчик меня поразил, и страшно хотелось по нему поработать. Потом магазинов развелось как грибов, ушел майор и начался запрет на ногозахватывающие капканы, так как Россия подписала международную конвенцию. Тогда Валя решил выпускать гуманные капканы и приперся к Старшому испытывать их с канадцем. Заварилось дело. Ловушки надо было то ли сертифицировать, то ли портифицировать, не помню точно, но знаю, что капкан считался гуманным, если зверек погибал меньше чем за четыре секунды... или двадцать четыре, точно не помню. В общем, гуманный капкан.

А теперь разберемся, почему собаки ка-те-го-ри-чес-ки против гуманных капканов?! И что это за капкан и как он работает? А так: зверек проходит через рамку, которая мощнейшими пружинами складывается и шарахает по телу так, что зверьку приходит конец. Пружины столь сильны, что охотникам, говорят, отшибало пальцы. А теперь давайте вернемся в нашу осень и вспомним краеугольное мероприятие, от которого, как мы знаем, столько зависит.

Да. Представьте: как ставить гуманные капканы на собак? Цинизм и тупорылость канадцев в том, что они не подумали про собак! О норках и соболях валютных подумали, а о собаках — нет. Ни за четыре, ни за двадцать четыре секунды Старшой не соскочит с нар, не нашарит калошки и не добежит до молодой собаки, попавшей в гуманный капкан. А вы представляете, с какой силой лупанет по лапе, если соболя сплющивает в лепешку?! Лапу-то отшибать будет сразу! Вот к чему приводит бездумный перенос на нашу почву заморских начинаний. Факт существования таких псевдогуманных капканов меня возмутил сам по себе, но когда я узнал про конвенцию и Валины капканные планы, у меня произошел нервный срыв. Хорошо, что отходчивость — ценнейшее свойство собак.

В общем, майор ушел, Валя вложился в гуманные капканы, а дальше началась коленвал-коза-капуста с долгами, кредитами и какими-то приставами, которые так приставали к Вале, что ему понадобилась куча денег. И вот он продает «клубничник» и десять литров малинного масла. В смысле, наоборот... А дальше начинается самое плохое.



Выдохнем.

Охотничий участок Деда Вовы принадлежал пополам двум братьям — Старшому и Валентину, таким образом, у Старшего была своя половина, а у Валентина — своя. Но Старшой по обоюдной договоренности опромышлял обе части. Теперь грянуло: у брата Вали плохи дела и он собирается продать свою половину.

Деньги требовались срочно, поэтому Старшой стоял перед выбором: либо самому выкупать, либо долю выкупят. А желающих было — прорва. Но совсем плохое, что соседями с Валиной, ближней к поселку, стороны были те самые Коршунята — сыновья одного коммерсанта, ребята циничные и технологичные. Тайга была им лишь средством «поднять денег». Гребли всё, били оленей табунами на продажу. С весны до осени хлестали с туристами рыбу. И были настолько капроново-синтепоновые, что Старшой говорил: «Это не промысловики, это — роботы».

Роботы заезжали на охоту по снегу на шведском вездеходе. А собачья политика такая: «Мы всё просчитали — нерентабельно. Она базлает — я, пока иду до нее и обратно, лучше двадцать ловушек насторожу».

— Валя, ты чо? Какие Коршунята? Там на Хаканачах меж двух сопков как раз самый ход соболя, они там огород поставят и мне все перекроют. А весной за сохатым и оленем сто пудов ко мне нырять будут! Я же не буду там сидеть безвылазно. А на речке баз понастроят, будут турье возить. Вообще перекроют кислород. И еще выезжать через них. По моим избушкам. Да и я там сколько вложил сил. Кулёмника одного нарубил сколь! Да если б и не влаживался... Один хрен. Мне такие соседи не нужны!

— Да понятно, брат! — отвечал Валя. — Но ты меня пойми! Меня! Мне край! Ты меня ставишь!

Старшой крикнул:

— Да ясно все. Короче, не продавай никому. Все. Заберу.

— А я не тороплю, — расслабленно отвечал Валя. — Неделя есть. Не тороплю... Накладывай! А Серый твой — гордец. Горде-е-ец! Как он галетину выплюнул!

На этом мое разведвезенье кончилось. Во-первых, едва я попытался давануть котофея, как появлялся грозный Таган, и Кекс взмывал под крышу. А во-вторых, нас с Таганом посадили в вольер. И вот перед глазами сетка с прилипшим собачьим пухом и пометом. Она пузырем продавлена нашими лапами: собаки любят кидаться на сетку, причем в одном месте — куда попадает прыжок после кругового пробега. Поскольку решалась судьба нашего охотничьего будущего, мне пришлось все выложить Тагану.

Он взъярился и для начала сделал несколько кругов по вольеру с бросками на сетку. Потом подошел и рыкнул больше себе в укор:

— А я чую, неладно! — Мощно взрыл снег задними лапами. — Кекс еще этот в мороз завывал. Я же понял все, чо смеяться? Тоже конспираторы. А то я смотрю, Коршунята приборзели. Ага. Хрен вам



в норки. — Он пару раз метнулся по вольеру и снова взрыл снег. — Да ты понимаешь, на что ты меня толкаешь?! С Кексом этим... А если узнают? Те же Коршунята. Это же нарушение всех понятий. Башка пухнет с вами. Кошарня еще эта... Они и не жили здесь. Понаехали... Будто бы сами с мышами не справились бы! Чо они там опять? — кивнул он на избу. И, помолчав, передернул шеей: — Лан. Дави Кекса! — и скрылся в будку, гулко стукнув внутри сильным телом и задернув брезент.

Вечером Кекс подскочил к вольеру и, увидев Таганий нос, заходивший резными клапанками, остановился в недоумении.

— Скажи, пусть лезет — не тронем. И орет погромче, — пробубнил Таган из будки. — Позорище...

— Точно не тронет? — тихо спросил Кекс.

— Да точно, точно, — успокоил я. — Давай быстрее.

Кекс перескочил сетку, и я выдал из него такое, что даже Таган ахнул.

Сочинение

Все нижеследующее является моей художественной версией, реконструкцией произошедшего, поскольку Кекс в перерывах между мерзопакостным своим воем сообщил только основные вехи событий и было бы унижительно для повествования передавать лишь эти, извиняюсь за каламбур, кошачьи выжимки.

Для начала семейный пейзаж Старшого. У Старшого все тянули кто куда: жена в одно, подрастающая дочь в другое, теща в третье, а шурин, детина Дяа Стас, которого все звали Диастасом, вместо того чтобы жениться, был большим фантазером, попивал пивко и большую часть времени проводил за экраном, откуда выуживал прорву разнообразных сведений и мыслей, кои и направлял на мозги чад и домочадцев.

Донимал Старшого купить вездеход, как у Коршунят, поставить в него печку, прорезать в полу люк и через него ставить и проверять капканы «на подрезку», не слезая с банкетки и путешествуя по профилям, когда-то пробитым экспедицией.

В описываемую мною пору на просторах нашей охоты царило два взгляда на роль собак. Один, скажем так наследный, предполагал широкое наше использование как в осенней охоте, так и в остальные сезоны, а в случае нужды и упряжное подпрягание нас в аварийной или детско-забавной ситуации. Это было внешним проявлением нашей роли, а главное заключалось вообще в нашем наличии и в том значении, которое придавалось общению с нами домочадцев и подпитке их веселым и героическим духом, носителями коего мы от века и являлись. И еще более важное главное — в любви к нам, как к части территории, завещанной предками.

Но находил все большее распространение другой взгляд на собаку, опирающийся на одно, с виду здоровое, обстоятельство. Пора так



называемой ружейной охоты, то есть охоты с собакой, а не ловушками, в наших сопчатых и потому многоснежных краях очень коротка, и многие заговорили, что невыгодно держать собак ради двух недель охоты. Что важней быстро насторожить весь участок и беготня к лающей собаке лишь помеха, ведущая к производственным потерям. И даже подсчеты приводились. В часах, километро-ловушках и ловушко-соболях и прочей коленвал-козе-капусте.

Самой вопиющей была теория отучения собаки от работы по соболу и оставления в подмогу лишь как птичницы для добычи привады. Что касается зверовых собак, то они вообще оставались на откуп сугубых любителей. Допускалась трофейная охота с собаками для богатых гостей, ну и собачье-ездовой туризм с закупкой заморских собак. Будто у нас своих не водилось. Идеи эти витали в воздухе, а стараниями Диастаса внедрялись в сознание старшовских домочадцев, и даже Старшой признавал: «Не, ну действительно, охота изменилась. Понятно, по осени для души с собачкой походить — это здорово. Но если охватом берешь, то лучше насторожить побольше. Оно на то и выйдет. Если честно, уже прыти нет. Спина, колени... Это у них-то четыре ноги, хе-хе. Четыре вэ-дэ». Что за «вэ-дэ», Кекс не понял, просто повторил. Подозреваю очередной коленвал. Эх... В общем, все сводилось к сворачиванию Собачьего дела на наших родовых просторах. Прилагались выкладки, сколько центнеров налива и мешков сечки уходит на одну собаку в год, на четырех, и довод: «Все это сварил!» Плюс налоги на собак, которые вот-вот введут, несмотря на протесты.

Если б это было просто сворачивание! Это была настоящая угроза. Попраение веками сложившихся традиций. И особо прозорливые пророчили распад собачьего мира и медленную, но планомерную замену наших охотничье-трудовых собак американскими туристически-развлекательными.

Кекс и вовсе говорил умудренно, что, хе-хе, какие, мол, хаски, никто не будет вас убирать и заменять хасками и аляскинскими бала... в смысле, маламутами. Все будет гораздо грамотнее. Сделают так, что на вид вы останетесь западно- или восточносибирскими лайками, а вести себя будете как баламуты... Вот в таких идейных брожениях и протекала наша собачья жизнь в начале текущего века. А теперь к делу.

Новость первая. На новогодние каникулы маленькому Никитке задали сочинение: «Почему воровать нехорошо». Никитка, которого Старшой изо всех сил приучал к таежной и трудовой жизни, написал про «папиных собак» и про то, как «Рыжик пошел по капканьям, а папа его застрелил из тозовки». Потому что воровать нехорошо. Учительница, приехавшая из города за северным стажем, исправила «капканья» на «капканы», а потом позвонила и выговорила Старшому: мол, что же вы ребенка к жестокости приучаете?

Злущий и издерганный неурядьями Старшой сидел с Валеёй за столом и только собирался поднять стопку.

— Ну чо, братка Вовка, между первой и второй?..

— Помещается еще... Да, я слушаю. Чево-о-о? Ева Архиповна, не надо лезти. Вы детей учите — и учите, а со своими собаками я сам разберусь. До связи. — И швырнул трубку на кресло. — Кобыла. Давай, Валек.

Расстрел Рыжика Старшой от сына скрывал, сказав, что того волки съели, и правду Никитка случайно подслушал в разговоре.

Вторая новость заключалась в том, что ввиду неудачного охотсезона Старшой крепко подсел по деньгам и было непонятно, на что забрасывать весной по снегу бензин и продукты. Все подвозилось прямо к избушкам, не надо было корячиться на лодке по порогам, да и не все избушки стояли на берегу.

Третья новость: Коршунята осаживали Валентина и чуть не требовали продать половину. Четвертая: вроде бы Старшой договорился заниматься под проценты у Шатайлихи, причем сразу на всё: и на завоз, и на расчет с Валькой.

Шатайло были поселковыми коммерсантами. Руслан — бывший охотовед, а Альбина Сергеевна Шатайло, его жена, — хозяйка большого магазина, при которой Руслан был приемщиком пушнины и водителем. А для меня Альбина прежде всего хозяйка несостоявшейся Рыжиковой зазнобы Николь — карликовой пуделихи или пуделессы, уж не знаю, как правильно.

Альбина была, как кряж, квадратная, с каштановыми в красноту, крепко завитыми кудряшками, отесанными с боков, и широким открытым загривком. Черты лица крупные, глаза очень красивые, карие, навывкате и с розовыми, будто больными, влажными белками, ресницы гнутые и лучистые и яркая, приветливая улыбка. Вся Альбина в дополнительном будто покрытии — в пудре, помаде, глазной краске, в кольцах, перстеньках и сережках. В крупных, желтково-прозрачных в муть бусах... Покрытие было такое плотное, что казалось, на отдых должно сниматься, позвякивая, усталым пластом. Норковая шуба, сидящая квадратно, а если сбоку — то от бюста углом и тяжелым щитом до полу. Когда шла — казалось, едет, покачиваясь. Шапка светлая с пятнышками, нерпичья — косою шар с козырьком и меховыми же бубенцами. В общем, броня и каска. Под мышкой сумка с золотистыми и сложными для собачьего описания железячками и свисающим ремешком.

Николь она тоже подбирала под мышку, и та глазела черными глазками и семенила вхолостую лапами. Вот, кстати, откуда аромат! Рыжик наивно думал, что Николь умеет пользоваться «парфюмами», а она просто, как сказал бы Таган, «натягивала» запах хозяйки. Стриглась подо льва, то есть оставляла круглую гриву и манжетки на лапах, а все остальное брила до волнистой розоватости... тошно, не могу, ну и носила кафтанчики или тулупчики, как правильной?.. Ярко-синий, с лжекарманчиками, погончиками и резинками на штанинах. Какой-то еще



юбочковидный, с меховыми манжетками и шнурковой затяжкой вокруг хвоста. И еще с тапочками... Меня просто трясет, когда Альбина говорит этой Николи: «Фу!»

Руслан был рослый, добротнейший и, как собака вам говорю, предельно породистый. С крепким лицом, литым и рельефным одновременно, с подбородком замечательным, синеглазый, с черными усами и плотными, коротко стриженными волосами — окрас соль с перцем, перца больше. Выглядел моложе Альбины и весь какой-то сытый. Говорил негромко, чуть заикаясь. У него было два дела: ходить от Альбины на сторону и покупать технику — катера, машины и снегоходы. Компанию любил, умел с мужиками посидеть, но всегда имел святое одно дело, от которого плясал в планах. Называлось оно «перевезти Альбину». «Ща, мужики, все можно. И посидеть можно. Я только Альбину перевезу». Будто она была гарнитуром с сервизом, который нужно без конца перемещать.

Он ее перемещал то из дому до бабушки, то от бабушки до внуков, то от Ларисы до дому. Перемещал с сумкой, розовым телефоном и подмышечной Николью. Перемещал постоянно: то в ее магазин «Клондайк» (в народе — «Колондайк»), то в совет, то в несовет, а то готовить школьников к Году животных, поэтому Руслан освобождался, только когда перемещал Альбину окончательно и убеждался в ее полной общественно-семейной загруженности.

Альбина была из тех, кто расцветает на людях, словно ей скучно в поселке и она, выкатясь от телевизора на свет, стремится и там продолжить цветной пыл и гомон. Надо спектакль в клубе — поставит. Какая-то комиссия — она там обязательно. Придет с папкой на локте: «Где у вас тут щиток, Руся, посмотри». И говорит так с напевом, с посылом: «Как ребеночек?» И улыбается завораживающе. Глаза светятся, ресницы распахнуты. «Да. Сейчас налог вводится, надо кошечек заявить и собачек всех, не забудьте. А вот брошюра. Мы тут с собачкой на выставку летали. Полистайте и приобщайтесь». Старшой брошюру выкинул в снег, и я как сейчас помню странные буквы: «West Siberian animals under protection». Дальше, правда, пошло легче: «Региональная организация защиты животных. Центр правовой зоозащиты... Основное преимущество свободы — это то, что высшая граница обязанностей человека — позаботиться о правах животных. Когда это право на свободу гарантировано, то отпадает ответственность человека за дальнейшее наполнение. (Действующий закон о благосостоянии и здравоохранении животных 1992 г.)». * Видимо, вкралась опечатка, потому что после слов «за дальнейшее наполнение» исчезли слова «нашего с Таганом таза»... Тагану показать побоялся.

Одно время Альбина прочила Старшого в главы поселка: «Мужик крепкий, ответственный... Что ж вы в тени-то сидите?» Жена говорила: «Иди, чо ты муляешься?! Все вверху решается. Э-э-э... бродень лата-

* Привожу дословно.



ный. Так и будешь последний воз в обозе. Всё без тебя поделают, пока ты тут с собаками жмешься, кого взять, кого дома оставить».

Альбине с Русланом Старшой и сдал немногочисленных своих соболей и получил аванс: остальное ожидалось после апрельского аукциона, как раз во время завозки в тайгу. Но Альбина вошла в положение, «тем более травма, мы же люди», и ссудила Старшому на все затраты, включая выкуп участка, и даже дала свежий бензин на заброску, вычтя из суммы. Возвращать предстояло следующей зимой «по результатам промысла».

Удивляет неестественность, дурная легкость, с которой липнет к не-далеким собакам и людям все расхожее и наносимое ветром. Будто чувствуют лакомость ветерка, грозящего прибавкой. Вроде вещь незначительная, дрянная и чуждая, но становится вдруг темой для упорного внедрения. Высшей воли нет поставить заслон, и на то и расчет, что по занятости и бездумию попустит народ.

— Дело в том, что животные — такие же члены общества, как мы с вами. Пока мы сами не поймем, ничего не будет. И надо, чтобы мы — Иванов, Петров, Краснопеев — поняли... С себя начните. Заходите, заходите, не стесняйтесь... Это всех касается. С себя начинаем. Собака — это личность, а не частная собственность. Надо осознать равноценность... так, где очки?.. главных потребностей людей и собак. Например, все мы любим вкусно поить и культурно отдохнуть... Поэтому — слушайте вот, нашла! — равноценность в потребностях животных и людей... Потребность в свободе и праве на благосостояние. И я вам скажу: в цивилизованных странах давным-давно введен запрет на купирование ушей и хвостов. Вы зря смеетесь...

Я вдруг подумал: а почему Старшой все на снегоходе да на снегоходе? Травматический радикулит... Из-за «ерархической». На лабаз полез и хряпнулся. Великое дело — лестница. Человек доломал свою. А наша-то целенькая стоит. Так-то, Альбинушка...

С новостями становилось все хуже. Кексу было не с лапы. Перелезание вольеры выглядело неестественно, и остальные собаки понимали, что Кекс не идиот: одно дело — его прижучили на пробежке, а другое — сам лезет в объятья.

Не знаю, в каком новостном голодании (во завернул!) мы бы все оказались, если в один прекрасный вечер не подъехал бы Курумкан с самогонкой и не завязалась посиделка.

Видимо, Старшой не все мог говорить при Валентине и вытаскивал Курумкана «покормить собак». Они зашли к нам в вольер. Было уже темно, только неоновый фонарь на столбе освещал заснеженный двор. У Старших топилась печка, и с прозрачной легкостью пятнисто неслись по освещенному снегу тени от дыма. Старшой принес кастрюльку и разложил корм деревянной лопаткой в помятые наши чашки.

Курумкан был раздосадован происходящим, говорил громко и сбивчиво:



— Ты чо не сказал, что деньги нужны? Чо эта Альбинка? Объяснил бы чо, ково. Тоже друг. Я от своей узнаю, что ты встрял. Альбинка эта... Чо Альбинка эта? Свином клет... тьфу, клином свет на этой Альбинке?

Я не сдержался и хрюкнул от смеха. Что за «клет» такой? Видимо, собачья клечка. «Клет, ко мне! Свином!»

— Ты чо-о? — обернулся на меня Старшой.

— Да кость, наверно, — сказал Курумкан.

— Торопится, блин! Ешь давай добром. Давай, Таган, еще подложу.

— Ну. Хороший кобель. Дак, короче, чо там вышло-то?

— Да эта Ева... как ее... Ева, Архиповна короче, классная, видать, Альбине пожаловалась на меня, ну что Рыжика убрал. Никитка сочинение написал... про воровство им задали.

— Да ты чо?

— Ну! «Папа убрал Рыжика, он ворюга. По капканам пошел».

— Молодец!

— Ну! Вопшэ хороший парнишка. Ну и, короче, та давай звонить, мол, зачем зверюшек обижаете? А я ее послал. Еще и кобылой назвал.

— Держи пять! Нормально.

— Трубку бросил, а кнопку не нажал, видать. Х-хе! Она слышала. Ну и, видать, заело. А Альбинка ее поддерживает. Не знай, чо уж у них там. Она же везде лезет. Ну ты в курсе про Вальку. В общем, она мне денег дала под проценты. Завтра приготовит... А тут с совета позвонили, короче, вызывают. На ковер. Кузьмич сказал, она как председатель комиссии там... ну по четвероногим... Права животных. Я серьезно. Кузьмичу это на хрен не надо. Но деваться некуда. Ну вот и выходит. Она, по-моему, специально... Чтоб вот к ней на поклон. Любит.

Курумкан покачал головой:

— Ну да. Некстати... А с другой стороны, кто она такая-то? Пошли ее в пень. Я вообще не понимаю, чо ты к нам-то не пришел, чо бы, не дали бы денег? Собрали бы.

— Да это легко сказать... Дали-собрали... Пушнину толком не сдавал никто. Ждут Кузькиных.

— Слушай, — прищурился напряженно и холодно Курумкан, — а не может она специально так сделать? У ней же Янка за Коршунячьим племяшом, а те на участок целят...

— Да! Да! — с жаром подхватил Старшой. — Как с языка снял! Я тоже подумал! Чтоб Коршунятам отошло. А мне чтоб отлуп дать, эту комиссию придумали.

— Ну да! Знают, что ты им козью рожу устроишь, а она тогда — хрен вам, а не денюжки! Ну! — с гордостью сказал Курумкан.

— Хрен их разберет, — свернул разговор Старшой. — Лан, пошли.



Я ничего не понял. Едва они ушли, видимо, в их же дверь вырвался Кекс и, пробегая мимо вольера, крикнул:

— Не могу говорить. Обложили. Короче, Шатайлиха Старшого в совет вызывает за Рыжика! Представляю, как он ее пошлет! До связи!

Вилка с Альбиной

— Куда он поперся? — гулко сказал Таган из будки.

— В совет к Альбине.

— Кой совет? Чо он с ней возится? С этой росوماхой?

— Да он у нее денег занимает и бензин.

— Да ясно-понятно. Нашел к кому в кабалу лезти! — Таган вылез из будки, потянулся и метнул снег задними лапами. — У Петровича бы занял или у Курумкана, он нормальный мужик. Чо, не дал бы бензина?

— Да у нас «скандик», он на девяносто пятом пашет, — в тон отвечал я.

— Понабр-р-рал, — раздраженно отвернулся Таган, — теперь возись как жук в навозе... Не мое дело, но я бы эту крякву сразу бы на хрен отправил. Пускай пудель свою охраняет. Знаю, какая там у них защита. В городах. Надоел кобель — отдал куда надо, чужой дядя укол всадил — и все. Усыпил... Хорошенький сон. В тайге сам бы убрал, а тут на другого свалил. Чтоб за больным не ходить. Вот те и права. Обожде-е-е... Они с людьми скоро так же будут. Дойдет! Чо ты думаешь? Дойде-о-от! Помяни мой слово. Хе-хе... Сами себя усыплять будут. Так что тут... дорогой мой Сережа... — и он задумчиво растворил рассуждение в многоточии. А потом вздрогнул, как очнулся: — И эта еще харза лезет. Сиди вон пиши закорючки свои... в бумагах. Мешок сечки, мешок гречки. Без тебя разберемся... кого казнить, хе-хе, кого миловать... Не-е, я сра-а-азу сказал, я как увидел эту Нинель в тулупе... Наноль ли... как ли ее?

— На ноль! — прыснул я.

— Сучку-то эту... Яблочко от яблоньки... Не зря говорят: какова сучка, такова и хозяйка. Тут ясно все. — Наморщился, вспоминая: — На кудрях-то эта... щуплая...

— Да оне обе на кудрях. Николь, — подсказал я.

— Ну. Николь... — Таган хрюкнул презрительно и покачал головой: — Сама с хренову душу, а еще в собаки лезет. Наш Кекс и то больше вешает. Так доведись на улице встретить — только бы вякнула. Николь... А Валькину половину выкупать наа. Наа. А то там такие соседи, что наперво у себя всю фауну кончат, а потом к нам полезут. После них кака зверь-птица? — произнес он в одно слово, и я начал представлять себе эту сказочную Зверь-Птицу и как по ней работать, а Таган продолжил: — Баз понастроят, турья нагонят. Вообще житья не будет. Хрен чо живое пролетит. Выкупать наа без будды. Тут я Старшого поддержи-



ваю... — И Таган сменил тон на тягуче-недовольный: — Хотя что-то последнее время... Не знай. Ково он к имя лезет? Он думат, с имя делить будет все... Он для йих чуждый. Все равно оне не возьмут его. Нами бы занимался... А мы б уж не подвели. Ме-а. Бесполэ-эзно.

Еще раз пронесся Кекс и сказал, что Старшой «все выслушал и не вякнул». «Но участок спас!» — радостно домякнул Кекс.

Таган сидел, сидел в будке, а потом не выдержал и вылез.

— Ты знаешь, я никогда не лез к нему. Соболя загнал, сохата поставил... Мое дело — поставить. А чо там потом Старшой... Куда это мясо девать будет... куда чо уходит... Мне это... знаешь... — отрывисто и с силой говорил Таган.

У него, когда он расходился, появлялась такая, что ли, лающая манера, если так можно сказать в собачьем случае.

— Ты думаешь, он за нас заперевивал?! — напирал он на меня. — Да ну на... За участок свой — больше ни за чо! Что границы подперли с Коршунятами. Он же к ним мостился дела ворочать, а они его в грош не ставят.

— Да я тоже не понимаю, — поддакнул я. — Мы с Баксом Коршунячьим деремся, а он с Коршунятами за руку здорвается! Как так?! Нич-чо не пойму.

— Да я ду-у-умал, ду-у-умал, — сказал Таган умудренно. — И все понял. Понимаешь, для него не мы главное! Не мы, а они! Чтоб его за ровню держали! Иначе — его заедат!

Сохат

Валентин уехал. Нога у Старшого помаленьку зажила, хотя хромал он еще сильно. В апреле поехал завозить груз и, зная, как засиделись мы в деревне, взял нас с собой. По дороге Старшой останавливался и терпеливо ждал, пока догоним. Погода стояла — чудо. Днем солнце топило снег, а короткие и звездные ночи запекали плавленый слой до каменной крепости. Потом вдруг чуток заморочало, нанесло снежок и наст припудрило — снежная подпушь покрыла твердую корку. Прозрачный морочок так и висел, оберегая от солнца и даря мягкую дорожку. Дни стояли длинные, полные света и оживающего дыхания тайги. Вечерами за рекой ухала неясить, а с утра дятел, едва прикоснувшись клювом к сухой и гулкой елке, впадал в такую дробную судорогу, что, когда строчка-очередь замирала, накатно стояло над тайгой стоверстное эхо.

На третий день в хребтовой избушке Старшой пилил доски, Таган под шумок куда-то убежал, а я тоже пошел подышать-прогуляться, пока держит наст. Пила раскатисто отдавалась по лесу, и, когда я отдалился, стал слышен далекий лай Тагана. И лай, и звук пилы, между которыми я оказался на линии, были необыкновенно разлетными и слитыми в ровное эхо. Я понесся к Тагану и долетел быстро, несмотря на то что уже

припекало и в ельниках, где наст слабее, он ухал пластами и приходилось карабкаться.

Когда лай был близко, я увидел сохатиный след. На краю гари у ельника по брюхо в снегу стоял сохат, здоровый бычара, а у его морды, на одном с ней уровне, уверенно и с придыханьем работал Таган. Сохат, несмотря на наст, кидался на Тагана, делал могучие выпады передними ногами, обрушивая точеные копыта в те места, где только что стоял Таган. Я подскочил и бросился на подмогу.

«С морды работай!» — крикнул Таган. Мы бегали поверху, и сохачья морда была напротив наших — это поражало, будоражило, и хотелось впиться в морду. Сохат все понимал и медленно сдвигал поле боя с края гари в ельник, зная, что на открытых местах наст крепче, а в тени слабее. Крутя зверя и уворачиваясь от копыт, мы незаметно оказались в плотном чернолесье. Таган сделал выпад к сохачьей морде, сохат бросился вперед и, ухнув до полу, оттолкнулся и вновь вознес копыта. Таган отскочил и провалился в ослабший наст. От сокрушительно-плотного удара по голове он взвизгнул и осел, вмявшись в перемороженный крупитчатый снег... Каждое копыто работало свою полосу, параллельными очередями ложась на Тагана, который все проседал и мелко тряс головой.

В этот момент на меня обрушился машинный рев, и подлетевший Старшой разрядил обойму карабина и, швырнув его в снег, бросился к Тагану. Закричал: «Тагаша, Тагаша, родной!» Косо заваясь в рыхлую яму, взял его на руки, попытался потащить пешком за пять верст до избышки. И провалился, заковылял ногой, рухнул с Таганом, лицом в его лицо, в его лоб, мягко и кроваво ходящий на шкурке, в проломленный середовой шов, который так любил гладить, в глаза, в кровь и шерсть. И хрипло в рык зарыдал, трясась и лупя в наст кулаком.

Таган еще дышал. Старшой снял куртку, постелил ее в нарточку, положил в нее Тагана, который то открывал, то закрывал глаза и часто-часто вздрагивал веками. Аккуратно довезя до зимовья, Старшой занес любимую собаку и положил на нары на шкуру. Я был рядом. Таган лежал на боку, и его передняя верхняя лапа, сложенная уголком, тоже вздрагивала... Трудовая лапа с черным шрамом по седому ворсу, с темно-серыми шершавыми подушками, с рыжеватой ржавой шерстью меж ними. Таган вдруг дробно застучал зубами, вытянул лапы и умер.

Не могу... По людям так не плачут, как по нас... если мы того стоим.

- Хорогочи — Берегу!
- На связи, Берег, — серо и глухо ответил Старшой.
- Вова, чо не выходишь? — высоко, певуче и гибко говорила Света. — Мы уже, эта... волнуемся, може, чо с ногой неладно? Нога как?
- Да какая нога?! — вскричал. — Тагана нет! Сохат стоптал.
- Убежал за сохатыми? Не поняла! Повтори!

— Убил Тагана сохатый! Все. Нет Тагана. Погиб! Никитке не говори. Сам скажу. Как поняла меня, прием?.. Все. Завтра домой. К мясу еще... Не буду больше говорить.

* * *

Тихо было в избушке.

Старшой сидел на чурке вполоборота к нарам и прислонясь к ним так, что правая рука лежала вдоль нар с краю и касалась Тагана, голову которого он накрыл потной своей рубахой. Тихо и бесполезно лился немеркнущий и недвижный весенний свет в затянутое пленкой окно.

«Серый, поди ко мне», — вдруг сказал Старшой. Я подошел и аккуратно лег рядом, стараясь ни шорохом, ни вдохом не нарушить нестойкой тишины. Я лежал почти не дыша, вытянув и скрестив передние лапы и положив на них голову. Было невыносимо тихо, как бывает, когда меняются смыслы. Дико было пошевелиться, но казалось, должно стать еще тише. И даже весенний синеющий свет звучал, мешал найти эту тишину, нарушал таинство. И я закрыл глаза. Сдвинулись планеты в небе, пошатнулись орбиты... не знаю, что стряслось со Вселенной, — рука Старшого легла на мою голову.

Мне всегда казалось, что есть и есть они, огромные взрослые собаки, в тени которых суждено мне учиться и расти, набираться науки промысловой и жизненной. И я никогда не задумывался, как жилось Тагану, как вообще живет тем, кто старше и сильнее и под чьей тенью ты существуешь, ощущая над собой огромность всего того многослойно-бескрайнего, что наполняет жизнь правом на будущее. Конечно, брезжило ощущение, что над головой таких вершинных существ, как Таган, разве только разрежение, космический вакуум... И сейчас, когда монаршей дланью Старшого подняло и вытянуло меня на иную орбиту, озноб этого разрежения я ощутил своей головой. И огромное что-то перешло ко мне от Тагана и означило, что мой черед настал.

Как-то я слышал разговор: Старшой вспоминал молодость и рассказывал, как ему нравилось ночевать в дороге в незнакомой избе и с какой пожизненной благодарностью после невыносимой усталости, ночи и снега вспоминались такие ночлеги. А потом и к нему под ночь завернул измученный мужичок, перегоняющий за триста верст снегоходило. И Старшой всей плотью памяти ощутил, что значит ночлег, но уже с другой — согревающей, спасающей и утоляющей стороны. Теперь мне стало понятно, о чем говорил Старшой.

И с новой силой я ощутил, что без Старшого не проживу, однако и он без меня не сможет. Что есть вещи, в которых он слеп, безрук и безног. И что как это сильно, когда над тобой... разрежение.

А ведь я должен помочь ему. Разве он чует запахи этой земли так, как мы? Земля моя... Разве он слышит, как оживают твои ключи весен-

ней ночью? Как береза отходит от сна и готовит соковые свои жилы? Как набухают желёзки копалух и глухари чертят крылами кровельно-крепкий наст? Как соболята зачались в соболихах, а под метровым льдом заходил в синей тьме хайрюз с бирюзово-пятнистым плавником?..

Как помочь Старшому рассчитаться за участок? Ведь я могу только хорошо искать соболей. Но для этого нужен поздний основной снег. Чтобы для начала лишь маленько выпал, присыпал моховой ковер и забега-ло шелковое воинство парными стежками... И чтоб месяц или полтора не валило. Тогда я все смогу. Все.

Хотя это не даст ничего, если не будет урожая ореха в нашем кедраче — чтобы со всех окрестностей, с гарей и лиственничников собрался там соболь. И чтоб не было в окрестностях мыши, и голубика не уродилась на редколесьях, не сманила соболя. И чтоб сам соболь вывелся, чтоб щенки не померзли. И чтоб и птички, и мышки нашлись на прокорм... Тогда я все сделаю! У меня ж четыре ноги!

Но и этого мало. Все пропадом канет, если за морем цену на пушнину не поднимут. И если с мышками-копалушками еще можно договориться, то тут я бессилён. Разве только с ветрами потолковать да пред солнышком на колени рухнуть. Невозможно. Непосильно. Но я должен.

Я спал, когда зашел Старшой, тихо взял тело Тагана, вынес на улицу и положил в груженую нарту, завернув в брезент, как в знамя. Я вышел тоже и до утра пролежал рядом на снегу.

.....

Синий, необыкновенно недвижный свет. Просторное дыхание от самых далеких гор до батюшки-Енисея. Плоское и огромно-белое поле Енисея до горизонта. Сосредоточенный глубинный звук стекающих в него ручьев. Запах печного лиственничного дыма, смолистый и сладкий. Рокот поселкового дизеля, слышный только в обостренно-раннюю эту пору. Где-то вверху по Енисею с ноющей оттяжкой стрельнувший лед. С древней и сказочной первозданностью пропевший петух...

Даль огромно и настойчиво дышала воздушно-мягким воркотком, будто варилось в ее огромном котле что-то гулкое и нарастающе таинственное: на льду напротив поселка бесстрашно и истово токовал косач, то кланяясь и пробегая, то сидя недвижной и черной точкой.

Ранней и светлой этой порой, пока держал наст, Старшой погрузил в коробушку мертвое и мерзлое тело Тагана, лом, лопату и медленно поехал вдоль берега в сторону енисейских яров, где на полетной высоте черно обтаяла кромка и можно было предать тело погибшего друга земле и камню, будучи уверенным, что останки не отроет медведь или другой голодающий зверь. Старшой давно скрылся за выта-



явшей коргой*, но еще долго разносился по округе грохочущий шорок снегоходных лыж и коробушки, и казалось, волокут по насту оглушительное листовое железо — настолько звук двигателя выпал из дали, как лишний и суетный.

Примерно в это же время молодая серая собака выбежала из поселка и отправилась в тайгу по каменно-крепкой снегоходной дороге, уже возвышающейся над просевшим снегом реки.

Дорога поднялась с реки на покосы и, обратясь в лесу в прямоугольную канаву, ушла по распадку и поднялась на таежный взлобок, где Серый с дорогой расстался и побежал по насту, время от времени оставившаяся, чтобы вслушаться в запахи и звуки, наплывающие крепкими волнами. Тревожно было у Серого на душе, потому что одно дело — решить, а другое — исполнить. Хоть Зверь-Птицу какую встретить... Да хоть бурундука, они уже повалялись должны... Но никто не встречался, и не с кем было посоветоваться, и некого попросить о помощи. Серый выбежал на тундрочку, окруженную ровными сквозными кедрками, и увидел на краю темное пятно. Это вытаяла высокая кочка. Он подошел, лег на нее, и так терпко запахла она жизнью, оживающей землей, что загрустил он бесповоротно.

— Ох, не про нас... Не про нас эта радость... Тундрочка ты, тундрочка, такая ты хорошая. Такая красивая, проглядная, столько ягоды можешь дать, столько накормить, скажи: что делать-то? Начать с какой стороны?

И вдруг Тундрочка ответила:

— С правильной ты стороны начал — где кочка вытаяла, где мне тебя слушать лучше. Ты хорошая собака, отзывчивая... Знаем мы твои беды-горести, да только дело у тебя трудное, больно на многих завязанное.

— А откуда ты знаешь?

— А кедровки на что?

— Понятно... А мне помочь Старшему надо, иначе беда будет — и с нашим участком, и с нами.

— Да понимаю. Хорошо, Серый... Смотри. Сейчас сюда подойдет один зверь, он у нас по хозяйственной части. Он хоть и невелик, но дело знает. Тем более только из отпуска... Полоско, можешь подпрыгнуть сюда?

С сухой наклонной кедринки спрыгнул увесистый бурундучина и, солидно приблизившись, замер.

— Значит, это вот Серый, — сказала Тундрочка.

— Как же, слышали... хе-хе...

— Ему надо помочь. Речь идет о соболе. Ну и... в общем, поработай с собакой.

— Я так понимаю, что речь идет о соболе... э-э-э... на начало две тысячи восемнадцатого года? Это у нас... так-так-так... пятнадцатый

* Корга — каменистый речной мыс.

участок. Конечно, помочь поможем... и мышом, и дикоросами. Но вы собака полета, а я зверек практический и мне надо понимать все конкретно: что, куда и как. И что чем закрывать. А то в прошлом году у нас с голубикой такие накладки из-за пожаров вышли, что на мне до сих пор две тонны висит. А самое главное, тут очень много согласований. Очень. Вы понимаете, что если мы убираем мыша с гарей, то надо его куда-то девать. Например, можем его переместить как раз на пятнадцатый участок, чтобы он, так сказать, приманил соболя. Однако мы понимаем, что, когда снег оглубеет, соболь его ись начнет и в капкан не пойдет. Мыша, в смысле, а не снег. Вы сами охотник. Это все надо проработать... Но хорошо, задачу вы мне определили... так что будем решать. Хотя сразу предупреждаю: мне время понадобится. Ну и вообще... Вы поймите: мы можем добиться высокой урожайности кедра на пятнадцатом участке. Но все это не сработает, если мы не создадим условий для выкармливания приплода. И я вам назвал только один момент. Так что переговоры, переговоры и переговоры... Вы даже не представляете, на что замахнулись. Тут есть вещи, которые, так сказать, от светил зависят. Тут... подальше положишь, х-хе, поближе возьмешь. Подальше спросишь, поближе ответят. Или нет... Ближе спросишь... Но не будем, как говорится, раскататься мышками по дереву... А я со своей стороны сделаю все от меня зависящее в части... — Он вдруг раздумал доводить мысль. — И в матчасти.

— А как вас найти?

— Да я сам вас найду. Ну, я пошел, — сказал он кочке.

— Да иди, — ответила Тундрочка и обратилась к Серому: — В общем, он сейчас все обсчитает, а тебе надо еще кое с кем потолковать. Я одна тут не решу ничего... А ты сейчас... — Тундрочка сделала паузу, — покопай под снегом рядом с кочкой.

— Здесь?

— Здесь, здесь...

Серый раскопал, расскреб настовую корку. За ней пошел в песок перемороженный снег, который он быстро разгреб и докопался до подстилки, до желто-зеленого, кристально проколовшего мха, на котором лежали крупные красные клюквины, промороженные до стеклянности.

— Ну что? Что там?

— Клюковка.

— Теперь очень аккуратно, как ты умеешь, возьми зубами клюквину и...

— Съесть?

— Какое «съесть»?! Все бы вам есть. Возьми и... только не раздави ее и не растопи. Выйди на наст и брось ее перед собой. Вот так вот! Все. Теперь беги.

Серый все сделал, как велела Тундрочка, кинул вперед ягоду, и она покатила по насту, прозрачно-красная с драгоценной мутнинкой. Солн-



це наливало ее светом, она горела изнутри и быстро катилась по алмазно-белому снегу.

Ягодка катилась по лесу, но никто не попадался навстречу, и Серый снова запечалился. Ягода тоже будто подустала и буднично остановилась в снежной ямке. И Серый тоже остановился в недоумении и огляделся вокруг.

Просторный и растрепанный кедрач был с необыкновенной отчетливостью врезан в слепящий от солнца снег. Вдруг кто-то стукнул костяными палочками. Серый тихо пошел на стук и замер. Огромный черно-сизый глухарь шел, пальчато растопырив хвост, свесив плоскими веслами крылья и закинув голову с мохнатой бородой, кровавыми бровями и крупным белым клювом. Двигался он то убирая, то расправляя хвост с той потусторонней медленностью, с какой цветки распускаются в древних сказках. Сам хвост казался настолько твердым, а сизое перо на спине — настолько гладко-литым, что у Серого перехватило дыхание... Глухарь как-то особенно сильно запрокинул голову и перещелкнул клювом с гулким и костяным звуком.

— Брат мой Глухарь, — сказал вдруг Серый. — Не улетай, я тебя не трону.

И слово «брат» прозвучало с такой надеждой и силой смысла, что Глухарь, вопреки всем разговорам о его глухоте на току, не меняя позы и так же медленно идя, сказал:

— Конечно, не тронешь. Тем более сегодня и день такой... Особенный.

В это время с енисейной стороны раздался и широко прокатился по тайге карабинный выстрел... потом еще и еще... всего три, через равные и торжественные промежутки. И белую шапку уронила елочка, вздрогнув и скорбно замерев. На какое-то время замер и Глухарь, и Серый, и вся тайга. Потом зашумел в кедрюшках ветерок и смял кроны. Ветру было хорошо шуметь в кедровых кистях, в длинных иглоках. Чем длинней и гуще были иглы, тем полней и торжественней гуделось ветру, и Серый не мог понять, кто шумит: кедр или ветер, потому что шумели они нераздельно. Глухарь был настолько неподвижен, что Серому показалось, будто все уже было.

— Хорошее чувство, — негромко сказал Глухарь и снова медленно пошел, так что Серому пришлось тоже идти рядом.

Он никак не мог поймать шаг, приладиться к Глухарю, но помаленьку подстроился.

— Главное — подстроиться, — сказал Глухарь и добавил веско: — Мы знаем Старшего. И тебя знаем. Ты хорошая собака. Что ты хочешь?

— Да вот мне чтоб соболь вывелся и выкормился, а это, сам понимаешь, мышки, птички... Это раз. Ну, чтобы он собрался в кедряках на Хоргочах. На правой стороне.



— Хорогочи. Хорошее название. Да... Так что ж?

— Так... хотя бы это.

— Что значит «хотя бы это»? А снег?

— Да тут столько всего! Голова пухнет. Давай с малого начнем.

— Я все понимаю: и про мышек, да и про птичек. Чо да как. И где лиса, и где тетеревиатник, и сколько на них выводов уйдет. Никуда не денешься... Так что тут можешь на меня рассчитывать. Но остальное... Даже ягода... Не знаю... И не слушай ты этого Полоско. Он на складе орехов всю жизнь проработал. Договора, фактуры... Короче. Сейчас дам тебе перо...

— Так, а писать на чем?

— Писать не надо. Надо бежать, куда оно полетит. — И Глухарь покачал бородатой головой: — Хорошая собака, но...

— Глупая?

— Неважно. Слышишь, верховка?^{*} Сейчас отпустит к обеду, а вечером уже плюс будет. Так что тебе успевать надо, не то встрянешь. Старшой потеряет, а у него на тебя сейчас вся надежда.

Глухарь выронил из хвоста перо, и оно сначала застыло в воздухе параллельно снегу, а потом полетело, покачиваясь, черенком вперед, и Серый побежал. Долго ли, коротко он бежал, и вывело его глухариное перо к огромной пустой полусухой листовице. На высоте человеческого роста дятлы продолбили дыру в срединное дупло, и из него торчал, высунувшись по пояс, очень темный и крупный соболина. Скуластое лицо его, сильное и гибкое тело — все настолько завораживало Серого, что он как окаменел. Соболю все время двигался, мялся, раскачиваясь наподобие маятника, клонился то вправо, то влево, словно его распирало от сил и вынужденной неподвижности.

— Здравствуй, Зверина-Соболина, — еле сказал Серый Соболю, а про себя подумал: «Что же они все такие крупные сегодня? Как на подбор...»

— Ну, здравствуй, Серый, — сказал Соболю, мощно качнувшись вправо, и тут же еще мощней качнулся влево. — Здравствуй. Не ожидал?

— Не ожидал. Ну, здравствуй! — тоже сказал Серый и тоже немного качнулся вслед за Сободем, и ему стало неловко: еще подумает, что под него подлаживаюсь.

— Подлаживаться приходится, — сказал Соболю и еще усилил размаху, — в одной тайге живем. В общем, слушай. Могу я собрать своих на Хорогочах. Могу. Мне свои ясашные сотни, чем на капкан положить, лучше уж... под пули послать. Глядишь, и увернутся. Ребята храбрые и подготовленные. Так что соберу живым весом — а уж дальше сам

^{*} *Верховка* — ветер, дующий с верховьев Енисея. Обычно это юг или юго-запад. Этот ветер несет тепло: летом — дождь, а зимой — снег.



управляйся. Только, чтоб собрать, их еще выкормить надо. Ладно, Глухарь — птица серьезная, все сделает... А с мышом как?

— Да Бурундук сказал, что с мышом и дикоросами поможет.

— Да чо этот Бурундук? — Соболь качнулся особенно возмущенно. — Не тот калибр. Ты не понимаешь... Есть бурундуки, а есть... фигуры, над которыми... вообще... — Соболь метнулся дважды, — вакуум. Мы здесь сколь угодно можем рассуждать. Только что мы видим-то отсюда? Надо идти к тому, кто далеко видит. Я тебе сейчас дам одну штучку, называется — коготок...

Серый хотел крикнуть: «Знаю, знаю! Он покатится или полетит! А мне за ним!» — но почему-то сдержался: больно сильно тот раскачивался.

— Держи, — сказал Соболь. — Вставь в свой коготь. Снизу. До щелчка. Все. Отлично.

Не успел Серый понять, почему он не залаял ни на Глухаря, ни на Соболя, как невиданная сила в лапе подхватила его и он побежал, видя, как сереет небо облачками, и чувствуя талое тепло верховки и особенно — оживающие запахи... Через считанные мгновения увидел Серый впереди сияющий просвет, следы знакомой гусеницы, и вот он уже стоит на енисейском угоре* возле самой оттаявшей кромки, на которой возвышается серая гряда базальтовых окатышей. А впереди даль неоглядная, и воздух дрожит и плавится от теплого ветра. Да вдали на горизонте ломаются и нарождаются миражные слои дальнего мыса, мазки, штрихи, черточки — не то озера с деревьями, не то города неведомые. Подбежал Серый к каменной гряде. Лег рядом и заснул.

— Серый, Серый, — раздался вдруг из-под ног зычный и густой голос, — слезами горю не поможешь, а как ты Тагана любишь, мы и так знаем. Сами такие.

— Да кто ты? — тихо спросил Серый.

— Я тот, который глядит далеко. Я Енисейный Угор. Да только моей далью можно лишь до мыса дотянуться, а тебе другое нужно...

— Куда же мне залезти? — воскликнул горестно Серый, вскинув голову на мачтовые лиственницы с пупырышками почек. — Я же не Соболь и не Глухарь. Где мне на них забраться!

— Забираться не надо. Спустись с меня.

— Как?

— Так. Вон по распадку, где Старшой камни с Ляминой корги возил.

— Батюшка-Угор, а что там над мысом за нагромождение такое, слоями такими ходит, будто на город похоже?

— А это город Чемдальск. Чем дальше спрос, тем ближе эхо.

— Коленвал какой-то опеть... — сказал Серый.

— Спускайся давай вниз, а то правда...

* Угор — высокий берег реки, вторая терраса, на которой обычно стоит поселок или деревня.



— Ну спущусь, а дальше-то что?

— А ты сначала спустись. А там поймешь.

Серый спустился по старшовской снегоходной дороге. Когда выбежал на паберегу*, увидел камень, выпавший из коробушки. Его наполовину втопило в снег весенним солнцем.

Серый подбежал к Енисею и увидел заберегу** — первую в этом году и вторую в своей жизни. Возле изгиба берега зеленел снег и в ямке набралось зеркало бирюзовой водицы. В воде шевелилась букашка. Он попил водицы и сказал:

— Эх, спасибо...

— Пей, пей... Ты же набегался.

Серый вздрогнул и оглянулся. Голос был со всех сторон, и выходило, что он внутри голоса.

— Ты кто? — спросил.

— Тот, кто тебя напоил.

— Заберега?

— Хм... — тихо рассмеялся голос. — Собака ты, собака. Я Батюшка-Енисей. Здравствуй, моя.

— Так-так-так... — проговорил Серый и на всякий случай быстро лег (есть такое собачье падение в клубок). — Полежу, а то... я запутался.

— Я тебе помогу. В чем забота?

— Мне Старшому надо помочь. И Бурундук тут, и Глухарь, и Соболь — ну они все вроде хотят... Ну чтоб на Хорогочах соболю собрался. А вот со снегом как быть-то?

— А чо те снег? Пусть Старшой ловушками работает!

— Ловушками! — горько сказал Серый. — А от меня-то какой тогда прок?!

— Как — какой? Ты со всеми договорился, а дальше уж Старшой пусть разбирается.

— Батюшка-Енисей, нельзя мне так! Как ты не поймешь? Ведь я все это затеял, чтоб помочь чем могу. Я не по сделкам! Я соболя ищу!

— Серый ты, Серый... Так договориться не каждый делец сможет. Ладно. Что у тебя там? Снег?

— Снег, Батюшка. И еще... страшно сказать...

— Можешь не говорить. И так знаю. Санкт-петербургский пушной аукцион.

— Он, Батюшка.

— Слушай меня внимательно, Серая Собака. Что я могу? Я могу по-позже встать, пораньше пойти. Понятно, воды много, по осени остывает, тепло держит... Но это все, так сказать... подогрев местного значения. А снег, — медленно сказал Енисей, — это уже общее круговращение

* *Паберега* — пойменная часть речной долины.

** *Заберега* — полоса льда у берега.



воздухов. Тут как солнышко ходить будет — так старые люди говорят... А еще и теплые весна-лето нужны... Погоди, я сейчас лопну коло Рябого камня, а то поддавят. Не пугайся.

Раздался раскатистый хлопок треснувшего льда. Ветер продолжал дуть с устойчивой силой, и по Енисею пятнисто неслись облачные тени.

— Эт хорошо-о-о... Дак вот, тут уже дела космические... Тут надо спрашивать у того, кто к небу поближе. А это Главный Саянский Хребет.

— Ой-ой-ой! — заплакал Серый. — Не добежать никогда...

— Я сам спрошу.

— Дак это ж далеко!

— Серый ты, Серый, — сказал Батюшка-Енисей и попросил Верховку погладить Серого, — для меня это недалеко.

— Почему? — спросил Серый.

— Дак... лежу я тут.

— Ой-ой-ой... — сказал Серый, — у меня не получается понять...

— Ничего, ничего. Я лежу. И ты полежи... И знай, что минуты не пройдет, как Саяны услышат мою просьбу. Считай до шестидесяти.

— Кого?

— Да никого. Никого... Все. Все, моя... Уже шевелят ледниками.

И уже отвечают.

— Что? Что отвечают?

— А отвечают, что имя до Солнышка так же высоко, как и мне, бескрайнему...

Серый уже даже не скулил, а просто лежал, подставив морду, и теплая Верховка матерински оглаживала его голову, трепала острые и чуткие уши, шептала: «Не печалься, главное — верить... И все получится...»

— Серый! — вдруг сказал Енисей грозным и дрогнувшим голосом.

— Да, — встрепенулся Серый.

— Видишь ту торосинку на самой середке? — спросил Батюшка-Енисей. — Беги и возле нее остановись.

Серый ничего не спрашивал, а добежал до торосинки, оказавшейся огромной грядой сине-зеленых торосов, и остановился. Облако, накрывающее полреки, вдруг отошло, и снег залило таким ослепительным светом, что Серый зажмурил глаза.

— А вот и я тебя вижу. Здравствуй, Серый, — раздался ласковый голос.

— Здравствуй, а ты кто? А то я глаз не могу открыть. Солнце так лупит.

— А ты не смотри на меня или... спрячься под наклонную торосину — и увидишь.

Серый заполз под наклонную торосину и увидел над собой синий свет Солнца, прошедший сквозь енисейский лед.

— Ты мне что-то сказать хотел? — спросило Солнце.



— Да я столько уже сегодня сказал, что... может... я полежу чуток...

— Ты просто убегался, Серый. Слушай, что я скажу. Я могу сделать теплую весну, могу теплое лето. Могу задержать главный снег и до конца ноября держать порошу в треть лапы. Могу модницам приморозить гузки так, что они в очередь станут за собольими шубами...

— Ах! — только и ахнул Серый. — Правда?

— Правда.

— А почему ты мне помогаешь?

— Я пока не помогаю... Но сейчас поймешь. Только ответь на один вопрос.

— Какой?

— Почему ты сразу меня не попросил?

— Как-то не решился... Я вот подумал: если Бурундук такую козупу мне развел, то куда уж мне к Солнцу-то лезти...

— Милая ты собака. Вот ты сам на все и ответил. Ты все правильно сделал. С Бурундучка начал, и всех выслушал, и все выполнил... И знаешь что? Из ягодки, которую ты не прокусил и не растопил, — я тебе тундру ягоды на Хорогочи насыплю; из перышка, за которым ты бежал, — глухариных выводков целую тайгу подведу; а из коготка, который ты на могилу Тагана положил, — полные Хорогочи соболя пригоню.

— А...

— Но ничего не будет без... Знаешь без кого?

— Без кого?

— Серая ты собака... Скажу я тебе. Все будет зависеть от нескольких... единственных... слов.

— Что я должен сказать?

— Не ты должен.

— А кто?

— Человек один.

— Этот человек — Старшой?

— Он самый.

— Что он должен сказать? — замученно спросил Серый.

— Он должен помолиться о вашей собачьей доле, — сказала Солнышко.

— Как же ему объяснить?

— А это уж не твоя забота.

* * *

Если есть бессмертная душа у картин, то одну из самых дорогих я вижу так.

Избушка на Хорогочах, с баней и лабазом. Вечер. Горящий костер. В костре, обложенном камнями, стоят на ребро три большие плоские ба-

зальтины. На них таз, в котором побулькивает разваренная сечка со щукой. У костра лежат Рыжик с Серым и пошевеливают хвостами. На чурке сидит Старшой, в его ногах Таган. Снег падает медленно и тихо на засыпающую землю. Шипит на красно освещенных камнях. Одной рукой Старшой чешет выпуклый и теплый шов на голове Тагана, а другой мешает собачье.

Ты увидел, Серый?

Еще раз.

Горит костер.

Падает снег.

И лежите: ты, Рыжий и Таган.

И Старшой вечно варит вам собачье.

Ведь ты так хотел?



Мария ТЕПЛЯКОВА

«ГОСПОДИ, Я ТРАВА...»

* * *

Я растаял. Я рухнул, как мартовский снег.
Всходит солнце сегодня от имени тех,
Кто весной превратился в ручей.
Я беззвучно кричал, я не мог убежать,
Эту жизнь так хотелось в руках удержать...
Мои волосы стали травой.
Уходи, но свою оборону держи.
Вот, возьми мои хлебные карточки, жизнь,
Я — туман над Невой.
О, глазастое небо твое, Ленинград!
Никуда не ушли, в карауле стоят
Все деревья твои.

* * *

Пуговица теряется навсегда.
Пуговицу подхватывает вода,
Руки воды так бережно принимают.
Пуговицу на суше не понимают.

Руки чужие грубо ее тянули,
Пуговица закатывалась под стулья.
Травы морские пришили теперь ко дну,
Если и любят — только ее одну.

Рыбы целуют нежно, песок щекочет,
Днем она дремлет, глаза открывает ночью —
Смотрит на небо, плачет по облакам,
По моей кофточке
И по твоим рукам.



Первый снег в Плесе

Лес, плеск, Плес.
Ветер в лицо до слез.
К Чехову декорация.
Астры в траве горят.
Первого октября
Кончилась навигация.

Последний пароход на Астрахань
Ушел вчера, крича протяжно.
Ты на траве не будешь завтракать,
Седой и влажной.
Пойдешь смотреть, как полетят, легки,
От храма вниз по косоугору
К воде — антоновские яблоки
Об эту пору.

Природа в час преображения.
Волнисто, охристо, безлюдно.
На Волге все пришло в движение,
Бери этюдник,
Смотри, как солнце в дымке утренней
Заштриховало эту рощу.
Все скоро будет неприступнее,
Белей и проще.

Лес, плеск, Плес.
Если задать вопрос —
Колокол отзовется.
Ветер в лицо до слез.
Словно брошенный пес,
С привязи лодка рвется.

* * *

Летает снег под фонарем,
Мы все когда-нибудь умрем
И встретимся поверх.
Поверх утопанных дорог,
Обычной речи и тревог,
В эфире без помех.

Душа, насвистывая блюз,
Смеется — больше не боюсь,

Свободна от желаний!
 И ну звонить в колокола,
 Чтоб утром в белых облаках
 Проснулись горожане!

Под утро снег устал и лег.
 Твой путь пока еще далек,
 Всему тебя учить.
 Рука тепла и тяжела,
 Но чаша древняя цела:
 В ней музыка звучит.

Кошка говорит Богу

Родила и положила под дверь
 И руками обняла четырьмя:
 Помоги нам проводить без потерь
 Электричку набежавшего дня!

Чей там свист и нарастающий смех?
 Добрый Боже, я исправно служу —
 Если хочешь, я поймаю их всех,
 Если скажешь пощадить — пощажу.

Дай водички, кровоточит губа.
 Я учусь твою любовь понимать —
 Видишь сына? Он красавец, в тебя.
 Видишь дочку? Она дурочка, в мать.

Лидии-Анне

Что это значит — умерла?
 Ты в небо по воду пошла.

Ты наливала блин на сковородку,
 Когда раздался голос за плечом.
 Июль пылал, как печка, горячо,
 И не было грозы в метеосводках.

И вдруг — прохлада, свежий ветерок.
 Ты оставляешь старенький платок
 И, серебром волос блеснув на солнце,
 Легко-легко ступаешь по земле.
 А фартук твой белеет на столе...
 На этом месте сон все время рвется.



Как примириться?.. Дверь не закрывай,
Растут цветы с названьем ад и рай
Под видом роз и черной орхидеи,
Все на своих местах — чеснок и лук,
И голуби пшено едят из рук,
И яблони весеннее надели.

Тебе садовник леечку дает:
— Печаль свою посеешь, и взойдет
Веселый ландыш или медуница.
За дни, когда ты счастлива была,
Возьми себе два маленьких крыла, —
Чирик-чирик, любезная синица!..

Что делать с мерой, чем измерить жизнь?
Продребезжала зря, или бежит
Из темноты на свет ручей знакомый?
Ты — девочка у Бога на руках,
И блинчик твой лучится в облаках,
Ты — дома.

Плач по Адаму

*Плакася Адамо, пред раем сидя:
«Раю, мой раю, прекрасный мой раю...»
Русский духовный стих «Плач Адама»*

Белое поле, как Белое море.
Холодно, дверь затворяю,
Печку топлю и пеленки стираю,
Раю мой, раю.

Где ты, Адаме? В нашем краю
Долго не слышала флейту твою:
Создан один и один умираю,
Раю, мой раю.

Просится пес в тишину и тепло,
Голос твой нищим стучится в стекло,
Дети играют, день догорает,
Раю, мой раю.

Раю исхоженный, северный край,
Вытопан двор, покосился сарай,
Низкое небо и ветер...



Где ты? Твое вспоминаю лицо.
Скоро отправятся вслед за отцом
Малые дети.

Выросли вязы, что ты поливал,
Солнце пригреет, пробьется трава —
Я из-под снега травой прорастаю...
Раю мой, раю.

Реанимация

Доктор, снимите маску, конечно, бездыханно.
Дерево лезет в окна — хочет меня баюкать —
Это анестезия, телу легко и странно,
Память вернется вряд ли, вряд ли — глаза и руки.

Будет пустое тело, белое — как пространство
Чистой бумаги, ночи — истинно петербургской.
Кошка посмотрит косо: что ты за чудо, здравствуй!
Здравствуй, Агнешка, хочешь — поговорим об искусстве.

Это искусство жизни перекроило мысли,
Правды не стало вовсе, ложь утопилась в Мойке,
Принцы да на конях по пути зависли,
Кто в Интернете, кто просто у барной стойки.

Что же так больно пить раскаленный воздух,
Словно последний вздох сотрясает ребра?..
Больше не нужно спирта, любви, наркоза —
Бог не обязан быть бесконечно добрым.

Даже следов не видно, вода и ветер.
Смерть никого не режет — врачует раны.
«Что-нибудь помнишь?» — «Колокола и дети,
Суздаль на побережье Тихого океана».

* * *

Куршская коса — узкая ладонь,
Леса полоса посреди воды.
Листья в серебре, проходи, не тронь,
В воздухе висит дождевая пыль.
Серенький кабан просит бутерброд,
Неприметный еж воздух пожевал...



Горя никогда не произойдет,
 Этот мост до звезд Боже приподнял.
 Катится звезда, море меж стволов,
 Сосны нам тепло ночью отдают...
 Это про тебя, это про любовь.
 Происходит жизнь, здесь, сегодня, тут.

* * *

У Ксеньи на Волковом — голуби.
 У волка живот подвело от голода:
 Волк не возьмет в толк,
 Почему он есть, когда нечего есть?
 Ксенья кормит с руки птиц,
 На самолеты смотрит из-под ресниц.
 По холке треплет ручного волка —
 Не бойся, сейчас упадут вниз.
 В самом деле, горят, как свечи.
 Ксенья накормит, Ксенья полечит,
 На Волковом всем уют:
 Бездомные детки кисель пьют.
 Ксенья каши кладет им с горкой:
 Ешьте, Настасьи, ешьте, Егорки,
 Берите булку двумя руками,
 Хватит и вам, и маме,
 Теплой одежды хватит на всех...
 У Ксеньи на Волковом — снег.

* * *

Птица Богу верит,
 Птица точно знает:
 Не бывает смерти,
 Смерти не бывает.
 Есть полынь и мята,
 Дыма запах древний...
 Ты жила когда-то
 На краю деревни.
 Там колодец звездный
 И тропинка в поле...
 Не бывает поздно,
 Не бывает больно.
 Закипают вишни
 Вьюжисто и млечно.

В это время слышно,
Как вздыхает вечность.
Синяя синица,
Страница, сиротка,
Божия страница
Песенки короткой,
Подари мне лучик
Золотого хлеба...
Бог возьмет на ручки
И подбросит в небо.

* * *

*Шел трамвай четвертый номер,
На площадке кто-то помер,
Не доехал до конца.
Ламца-дрица-ум-ца-ца...*

Из блокадного фольклора

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять.
А вокруг горят пожары,
Истребители летят.
Мальчик с бабушкой бежит,
Мальчик очень хочет жить,
Он еще не понимает,
Кто такой пархатый жид.
В репродуктор говорят:
«Славный город Ленинград!
Ленин, партия и Сталин
Нам сдаваться не велят!»
Сомневается рука,
Печка просит огонька...
Пушкин, Гете, Достоевский
Улетают в облака!
Ветер дует в дымоход.
На ступеньках черный лед.
Кто присел, пиши пропало —
Не проснется, не дойдет.
Вас давно на свете нет,
Вы рассеялись, как свет...
А сегодня столько хлеба!
Приходите на обед.



* * *

Расчищает время культурный слой:
Появляется аналой,
Глас четвертый, постной Троицы том,
Шестопсалмие, камертон.

Появляется Суздаль, кареты, псы,
Туристический хоровод,
Стрелки, буквы, детали — видать, часы,
Археолог их разберет.

Расчищает пыль, рассыпаясь в прах,
Видит девочку в башмачках —
На запястье тонком поет привет
Серебряный мой браслет.

Улыбнется, рядом найдет кольцо,
Дорисует твое лицо.

* * *

Господи, я трава.
Господи, я — жива.
Я в тишине серебряной
Дремлющие слова.
Я из твоих рук
Перетекла в звук,
В землю скользнув семенем
Слышать Святой Дух.
Будешь со мной сам —
Вырастет холм — в храм
(Только не покидай меня),
Лестницей к небесам.
Смерти внизу — лес,
Жизни вверху — лес.
Страшно, светло, правильно —
Господи. Ты. Здесь.

Антон МУХАЧЁВ

ДВА ГЛОТКА

Р а с с к а з ы

Карцер

Февраль. Утро. Минус сорок. Старый карцер едва держит тепло, и к спящим зэкам под одеяло лезут крысы. То ли греться, то ли — кто их знает? — лакомиться ушами. У местного главара крыса во сне отгрызла мочку уха, и теперь он уверен, что в их слюне есть обезболивающее: говорит, ничего не почувствовал.

В борьбе с холодом, мерзким и влажным, помогают отжимания и раскаленная труба отопления. Маленькое оконце скрыто несколькими рядами мелкаячейстой решетки. На защелку накинута петелька из куска простыни.

Несмотря на мороз, я проветриваю камеру два раза в день — пока не пойдет изо рта пар. А иначе жди туберкулеза — вечного спутника изоляторов и крытых тюрем*. Рыжий сосед-малолетка мужественно крепится. В необходимости ледяной процедуры убедиться легко — стоит приподнять половую доску и увидеть стоящую под ней воду или же дотронуться до постоянно мокрых и оттого ржавых листов железа, которые тут вместо обоев.

В метре от батареи тепло еще чувствуется, хотя ноги уже подмерзают и под тонкой робой с большим штампом «ШИЗО»** тело покрывается мурашками. Мечтаешь обнять батарею, а прижмешься к трубе — обжигает, и удивляешься: куда же уходит жар? Так и стоишь рядом, вбираешь градусы про запас. А на другом конце карцера — зима.

Однако и в нашей крохотной двухместной камерке с гнилыми полами и осыпающимся потолком, где, раскинув руки, упираешься в противоположные стены, есть свои мелкие радости жизни. Батарея тянется по кругу через все камеры изолятора, и благодаря ей мы не только греемся, но и общаемся с соседями и даже передаем друг другу «малявы» с небольшими грузами.

* Крытая тюрьма — тюрьма, где отбывается срок. (Здесь и далее — примечания редакции.)

** ШИЗО — штрафной изолятор.



Бетонные стены карцера сыпятся от древности, и упертому ээку ничего не стоит расковырять их железкой. Рядом с трубой, где она выходит из стены, сделать это легче всего. Сотни отправленных в штрафной изолятор ээков давным-давно здесь всё пробурили и наделали сквозных отверстий — «кабур». Через них и поддерживается связь. Администрация с кабурами борется, время от времени их бетонируют, но холод стен, жар батареи и сказочное терпение каторжан делают свое дело, возвращая ээкам свободу слова.

Подъем в пять утра, и через полчаса я требую законную прогулку. Все уже привыкли к тому, что я гуляю в любую погоду, и заспанный инспектор ведет меня в темный заснеженный дворик. Я прыгаю, размахиваю руками, бегаю на месте, и минут через сорок меня отводят назад. По пути заходим на склад, где я оставляю фуфайку, шапку и верхонки.

Кроме казенной одежды на складе лежат сумки с вещами тех, кого в ШИЗО закрыли прямо из карантина. То есть таких, как я. Моя сумка заблаговременно расстегнута. Я ловлю момент, рука ныряет в сумку, и через мгновение в моих трусах лежит пачка «Парламента». Перед дверью камеры меня обыскивают, правда, вяло, и я радуюсь маленькой победе.

После завтрака — серой сечки, слипшейся, но горячей (что уже радость), во все стороны начинают бегать малявы. Кто-то что-то у кого-то просит: от спичек до проводов.

Соседу за стенкой исполнилось двадцать пять лет. В карцере чувство праздника обостряется, и день рождения соседа кажется близким, почти своим. Я осторожно (у Рыжего обе щеки со следами от горячего металла) сажусь на корточки рядом с трубой.

Шумлю в кабуру, то есть кричу в дырку под батареей:

— Третья, третья, подтянись!

Слышу:

— Говори!

Связь установлена. Я желаю соседу всего наилучшего, коротко поздравляю и проталкиваю в узкую щель королевский подарок. Мой рыжий сокамерник чуть не падает в обморок от зависти: уже который день ему перепадает в лучшем случае «Прима».

— Откуда? — удивляется он.

— В сугробе нашел, — отшучиваюсь я. — Я же звал тебя гулять...

За стеной именинник охает, благодарит не только он, но и его товарищи по несчастью, и через некоторое время из их хаты идет «разгон по личностям». Ребята завернули в бумагу чай на заварушку, пару карамелек, по две-три сигареты моего же «Парламента» — и груза с пометками куда и откуда отправились через систему кабур по всему ШИЗО. О получении груза в сохранности тут же уведомляют отправителя ответной малявой с благодарностями.

Ээки отмечают юбилей арестанта, кричат поздравления, желают всего-всего, а особенно здоровья: здесь оно в дефиците. Пакетик с «ништяками» зашел на праздничный стол и к нам. Рыжий рад халявному «Парламенту» и обещает завтра пойти на прогулку.

Мне, как некурящему, сосед кладет шоколадную конфету, и я намерен растянуть ее на целый день. Мы собираемся заварить чай. В карцере чай запрещен, как и сигареты, как и многое другое, однако в полуразваленном лагере на болоте зэки научились обходить запреты. Если жалоб на бытовые условия нет, нет и террора от администрации. Эта негласная договоренность, конечно, не означает отсутствия обысков, изъятий и наказаний, но и перекрывать зэку кислород не будут. Попадется на чем-либо — получит месяц-другой карцера, на том и разойдутся. Будет доставлять постоянные проблемы — переведут в СУС, строгие условия содержания, и забудут о нем. Умей не попадаться — и сиди на здоровье, наслаждайся жизнью в меру возможностей. А они тем больше, чем зэк платежеспособнее. Или хитрее.

Почти у каждого бывалого сидельца есть «семейник», близкий товарищ в лагере, с кем он делит последнее, будь то хлеб или беда. Когда один из них попадает в карцер, другой его «греет», старается передать теплые вещи, чай, сигареты, горсть леденцов, которые так облегчают тусклую жизнь «под крышей». До комка в горле приятно, когда на откинутой кормушке рядом с баландой вдруг обнаруживаешь маленький сверток с вкусняшками. Делиться в карцере — добрая традиция. Сегодня угостишь ты — завтра нежданчиком вернется к тебе.

Рыжий аккуратно вытаскивает половую доску и по плечо засовывает руку в подпол, в воду. Из одному ему известного тайника он достает герметичный пакет. В нем упакован самодельный кипяtilьник — «бурило».

В ШИЗО Рыжий сидит второй месяц. В свои восемнадцать лет он с трудом окончил шестой класс и за прогулы уроков зачастил в карцер. Получение среднего образования в лагере обязательно. Рыжий, проучившись пару месяцев, прячется от инспекторов, а пойманный — с облегчением едет в изолятор. «Здесь я свободен! — говорит он. — А школа — это тюрьма в тюрьме». Однако лагерную жизнь этот акуленок знает сто крат лучше меня и «курками» в камере, то есть тайниками, заведует он.

В одном из «курков» убран чай, в другом табак, в третий тайник Рыжий умудряется впихнуть одеяло, на котором мы днем спим на полу по очереди, пока другой сторожит возле двери. Тщательнее же всего Рыжий прячет бурило.

Про бурильники мне рассказывал еще отец, ими он кипятил воду в армии. Но мы вместо лезвий от безопасной бритвы используем две плоские железки. Между ними — спички, конструкция связана нитками, и к каждой железке подведен провод. Один мы суем вглубь патрона, выкрутив лампочку, второй «кидаем на массу». Кружка вскипает за две минуты. Пока настаивается крепкий чай — «купец», или «купчик», Рыжий прячет бурило. Шмон может ворваться в любой момент, а ценный агрегат превыше всех благ.

Мы пьем чай из одной кружки, обжигая губы и грея ладони. Традиционно делаем по два глотка и передаем кружку, вежливо разворачивая ее ручкой к соседу. От крепости заварки кровь разгоняется и ломит ви-



ски, нас обоих охватывает теплое возбуждение. Рыжий аккуратно курит в форточку. Я смакую конфету. Кончиком языка прижимаю к нёбу кроху дешевого соевого шоколада и жду, когда она растает. Мы с Рыжим счастливы, мы живем мгновением, и сейчас у нас праздник.

Сантиметр

У Малыша была мечта. До почетного титула «Мистер бицепс По-назырево» ему не хватало злосчастного сантиметра. За полгода до моего приезда в колонию освободился дядька с полуметровым охватом правой «банки», и номинально Малыш уже был чемпионом. Но он хотел, мечтал, стремился получить звание самой большой «бицухи» за всю историю лагеря.

Он методично рвал железо в спортзале, сметал кашу в столовой, не брезгуя пайками тех, кто отказывался от еды, штудировал журналы с качками и экспериментировал с программами занятий. В результате у него росли ляжки, медленно, но злоеще увеличивался и без того немалый объем груди, а шея практически исчезла и бритый наголо череп плавно перетекал в плечи. Бицепс же замер на 49 сантиметрах и игнорировал муки Малыша, а в его снах даже сдувался до неприлично малых размеров.

Отдыхал Малыш на втором ярусе в соседнем от меня «проходняке». Каждый раз, когда он забирался наверх, хрупкая конструкция скрипела и стонала, а я с любопытством наблюдал за выражением лица соседа снизу. Я бы там поостерегся спать.

Мой частый гость, Малыш книги не любил, сигареты презирал, от алкоголя не пьянел, зато подчистую съедал пряники с печеньем и продавливал мне кровать так, что приходилось снова и снова натягивать пружины. А еще он постоянно интересовался жизнью столичных скинхедов.

— Какие они? — спрашивал Малыш.

— Такие же, как ты, — отвечал я. — Лыдые, огромные и молдаван не любят.

Малыш, который родом из Кишинева, смущался.

— А ты знаешь хоть одного? — дознавался он так, будто скины прилетели с Марса.

— Только в комиксах видел.

— Да ладно тебе! — не верил Малыш, и от встречи к встрече его интерес не иссякал.

У меня сложилось впечатление, что он был бы не прочь влиться в ряды бритоголовых — хотя бы ради сомнительной возможности попасть на обложку журнала «Россия 88».

Вот и сейчас, зайдя ко мне и угостившись чаем с сушками, он спросил:

— А у вас были в «Северном братстве» скинхеды?

Я расплескал чай. Историю моих злоключений знали многие, но еще никто, кроме следователя, не был столь прямолинеен в вопросах о личном деле. Что-то пробурчав, я сменил тему:

— Я знаю, как тебе стать мистером супербицепс.

Мальш снисходительно улыбнулся. И правда, куда уж мне, с телосложением Буратино, давать советы профессиональному бодибилдеру!

— Почему бы тебе не воспользоваться стероидами? — спросил я. — Тебе ведь нужен всего сантиметр. Или затяни себе спортивное питание.

Он сморщил нос:

— Я тянул. Протеин, креатин, эль-карнитин и...

Далее Мальш перечислил десяток ничего не значащих для меня названий: для набора массы, сжигания жира, ускорения метаболизма.

— И ты все это ел? — покачал я головой.

— Не все, но многое, — подтвердил Мальш. — Моя матушка — директор на мясокомбинате, присылает все, что прошу, от колбасы до протеина. А вот стероиды она загнать не сможет.

— Почему? Дорого?

— Дело не в цене, есть и дешевые препараты. Она же шлет посылки из Молдовы, а через границу стероиды так просто не пускают. Огромная куча заморочек, — вздохнул он.

Я протянул ему лист бумаги и карандаш:

— Напиши, что тебе нужно. В пределах разумного. Я постараюсь помочь.

Мальш замер и не без подозрения посмотрел на меня. Мозг ээка всегда и во всем ищет подвох — так уж устроен ээк, если у него есть мозг.

— А что взамен? — наконец догадался спросить он.

— Что за коммерция? — делано возмутился я. — Ничего не надо, совсем ничего. Но если достану, то в качестве благодарности ты мог бы взять надо мной шефство.

— Что взять? — не понял Мальш.

— Я тоже хочу заниматься в спортзале. Мне нужен конкретный результат за определенный срок. Будешь моим тренером? — спросил я.

— Согласен! — Мальш сжал мою руку своей лопатой.

— Только без стероидов! — добавил я, прежде чем он углубился в глянцево́й журнал с голыми мужиками в стрингах.

Я сел за письмо друзьям в Москву. Спустя час Мальш вернулся с небольшим перечнем, отдал его мне и поинтересовался:

— А что именно ты хочешь получить от занятий?

Думал я недолго, сказал первое, что пришло на ум:

— Ровно через полгода я должен подтягиваться на турнике тридцать раз.

— А сколько ты подтягиваешься сейчас?

Я пожал плечами. На воле я ходил в спортзал, но два года тюрем и этапов не пошли мне на пользу — я деградировал в задохлика.

— Идем! — мотнул головой Мальш.

— Прямо сейчас? — удивился я.

— Ты же взял список, — резонно заметил он. — Время пошло.

У торца барака местными умельцами был сооружен спортивный уголок: турник, брусья, наполовину вкопанные в землю покрывки от гру-



зовика. Кто-то отжимался, прыгал со скакалкой, тягал каменные блоки вместо гирь. Иногда мне казалось, что я попал не в исправительную колонию, а в Олимпийскую деревню с лицензией на игровую деятельность. Немало севших наркоманов здесь ударились в спорт и, освободившись, меняли героин на протеин. То есть лагерь все-таки был исправительным!

Мы подошли к турнику. Я вытер вспотевшие ладони, повис червяком и чудом выжал шесть раз.

— Есть шанс? — спросил, отдышавшись.

Руки с непривычки горели, и я уже втайне надеялся, что Малыш не станет связываться со мной.

— Конечно! — воскликнул мой тренер. — Тут восемь из десяти и до турника не допрыгнут, а у тебя есть задатки. Главное — желание, тогда будет результат. Вечером разработаю спецпрограмму — и завтра в спортзал. Ищи кеды, шорты и литровую бутылку для воды.

Я обреченно вздохнул и поплелся в барак бездельничать в свой последний ленивый день.

Утром Малыш стащил с меня одеяло за пять минут до подъема.

— Ты охренел?! — шепотом заорал я.

— Зарядка в программе — до завтрака, — невозмутимо ответил он и за ноги стянул меня с койки вместе с подушкой, одеялом, матрасом — всем тем, за что я цеплялся, все еще не веря в перемены к лучшему.

Я прикусил язык, лишь бы не материть его вслух.

За завтраком я вяло ковырялся в миске с сырой кашей и в конце концов отодвинул ее в сторону. Малыш сидел напротив и приступал уже ко второй порции. Он вернул мою миску назад.

— Ты должен есть! Каша — это легкоусвояемая клетчатка. Хочешь быть сильным, рельефным, мощным и подтягиваться как монстр — ешь все, что дают. Старайся жевать тщательно, но быстро. Через сорок минут после физических нагрузок в организме образуется «углеводное окно». А кормят здесь как раз сплошными углеводами. Так что жуи кашу, а то...

Малыш сжал кулак, который оказался чуть меньше моей головы, и для закрепления материала слегка ткнул в скулу.

Возразить было нечем. За недостающий сантиметр его бицепса он бы запищал в меня завтрак силой, и мы оба это знали.

После завтрака Малыш развернул на столе большой лист бумаги с подробным планом занятий. Шесть месяцев, три раза в неделю, по два часа в день. Я еще рассматривал незнакомые словосочетания «французский жим» или «основная тяга», когда Малыш нарочито хрипло произнес:

— Теперь твой девиз: «No pain — no gain!» Что в переводе означает: «Нет роста без боли». А название нашей программы: «Кровавый пот».

Я впервые посмотрел на Малыша серьезно.

— Напомни, ты за что сидишь? — спросил я.

— Забил друга в котлету, — улыбнулся он.

— Насмерть?

— Еще бы! — расправил плечи Малыш.

— За что?

Он помолчал, вспоминая то ли настоящую причину, то ли ее судебную версию.

— Разочаровался в нем, — буркнул.

Спортзал в лагере был такой же, как и сам лагерь: грязный, убогий, но романтичный. Стараниями энтузиастов помещение в сто квадратов заполнили железяками, шестеренками, какими-то запчастями от трактора. Вдоль стен висели плакаты (мужчины без шеи и мужеподобные женщины без груди), стояли скамьи для жима от груди и прочие ржавые тренажеры. Четверть зала перегородил пыльный стол для пинг-понга. На полке хрипел магнитофон, под ним висела реклама средства от геморроя. Рельефные качки подходили к тусклой зеркальной пленке от пола до потолка и вертелись возле нее. В зеркале они выглядели чуть шире.

И здесь мне предстояло умирать и переродиться и снова умирать...

За тренерское дело Малыш взялся энергично, не забыв измерить мои параметры. Таблицу будущих достижений он озаглавил: «Я сдох, но сделал!» — «Не маньяк ли?» — уже думал я.

На первом занятии я познал сакральную суть слова «позор». Среди посетителей я выделялся худобой и сутулостью, жался к стенке и без труда читал мысли окружающих: «Вот обсос!» Они не знали, что я тут ненадолго.

Со второго занятия Малыш тащил меня в столовую на себе, а на третье, четвертое и вплоть до двадцатого гнал в зал пинками. Отмазаться не помогли бы ни паралич, ни кома, ни смерть.

Однако постепенно я втянулся, а вскоре уже получал удовольствие от маленьких, но тяжелых побед. Оросив турник, как клинок, своей кровью из лопнувших мозолей, я понял смысл названия нашей программы. Малыш показал статью в журнале, где огромный негр отзывался о турнике как об «адской машине». Я был полностью согласен.

Через полтора месяца я уже тягал разминочные веса Малыша, еще через месяц впервые посмотрел в зеркальную пленку. А спустя еще месяц подтягивался пятнадцать раз с полупудовой железкой на поясе. Ветераны спортзала жали мне при встрече мозолистую руку и обсуждали мою программу. Я прибавил десять кило мышечной массы, и каждый грамм был выстрадан. На новичков я поглядывал с надменностью, одергивая себя воспоминаниями о собственной недавней ничтожности.

Однажды позвонили из медсанчасти. Счастливый, Малыш умчался на уколы. Все, что он заказал, ему прокололи за месяц, и бицепс наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Он рос гораздо медленнее сисек и задницы Малыша, но рос.

Как-то ко мне подошел грузин Заза из братвы.

— Будь аккуратен со своим тренером, — кинул он.

— Ему дали задание придавить меня штангой? — пошутил я.

Заза прищурился: он был не в настроении. У меня не получалось держаться с блатными серьезно. Все время казалось, что они играют во что-то, правила чего знают только они. Не чувствовать себя дураком я мог только глядя на них сквозь призму сарказма. Это не добавляло в наши

отношения тепла, но и спор удавалось избегать. Приходилось постоянно нащупывать границу между панибратством и откровенной антипатией и по тонкой грани катить весь срок.

Заза оставил шутку без внимания.

— Малыш слишком часто бегал в штаб, да еще «в одинокого», — с легким акцентом сказал он. — А в лагере постанова: одному там не сверкать, об этом на всех сходнях мужикам доводят. Да и что ему там делать?

Голос у Зазы был равнодушно-ровный, ноль эмоций. Но я знал: под маской — клыки.

— Мы дернули его к себе, — продолжал Заза, — плеснули кипятком, и эта куча дерьма поплыла. Заплакал, баба лысая, и рассказал нам, что стучал операм звонче дятла. И знаешь на кого, Экстро?

Я молчал и хотел уйти. Однако стоял и слушал бывалого ээка, контрразведчика от братвы.

— Он был кумовкой* конкретно по тебе, — помедлив, сказал Заза. — А сливал тебя за колбасу. Мы-то думали, откуда он варенку тащит, она же под запретом. Оказалось, у него «зеленка» из штаба на жарчку за горячие новости о твоей жизни.

— Это он сам рассказал? — не верил я.

— Сам. И при всей братве, — подтвердил Заза.

— Но зачем?!

— От кишкоблудства до жопотраха один сантиметр, Экстро, — процедил старую истину Заза и брезгливо сплюнул.

Я смотрел на его плевки и видел, как в пузырьках слюны зарождались и умирали вселенные. Все было как всегда — скучно и обыденно.

— И что теперь с ним будет? — спросил я.

— Что бывает с сукой? — сделал удивленный вид Заза, блеснув белками. — Определим, получит свое, и выкинем в козлятник**. Пускай живет среди своих. — Он помолчал, раздумывая, и добавил: — Недельку-другую еще поживет при общей массе, посливает дезу операм. Но это строго между нами, Экстро!

Грузин ушел не прощаясь.

На следующее утро Малыш, вопреки обычному, ко мне не подошел. Я заглянул к нему в проходняк. Обе его руки от запястий до плеч были забинтованы.

— У нас изменения, Малыш, — сказал я.

Он напрягся, но промолчал.

— Программу надо сократить до двух недель.

Малыш удивленно посмотрел на меня и спросил:

— Сколько в прошлый раз?

— Двадцать шесть.

Он встал, взял спортивную сумку и кивнул:

— Сделаем!

* Кумовка — стукач, доносчик.

** Козлятник — барак или секция в бараке, где обитают ээки, сотрудничающие с администрацией.

Виктор САЙДАКОВ

СНЕГИРЬ

* * *

Январь, этот белый и длинный пустырь,
Меня изводил бесконечьем,
Пока не окликнул однажды снегирь,
К окну прилетевший под вечер.
Горел темно-красный фонарь на груди,
Он пробовал нужные ноты,
Потом по карнизу отважно ходил,
Туда и назад — с разворотом...
Потом он играл? Или нет... Говорил...
И сумерки нас окружали,
Когда он под флейту слова находил,
Одетые русской жалью.
И все отступало: и годы, и боль,
Теплели морозные ветры,
И снился ночами ковыль голубой
И сенокосное лето...
Меня цвета предвечерних картин,
Февраль отгулял новоселье,
И первым, приветствуя ультрамарин,
Умчался снегирь мой на север.
Прощай, снеговой господин, алый князь,
Бегущий от солнца и юга,
Кому ты играешь на флейте сейчас
У заполярного круга?

* * *

Александр Денисенко

Конь заплачет, придет дядя Гриша
И погладит его по лицу:
«Ну, родименький, что ты, потише,
Хочешь, клевера принесу?..»



Их осталось в деревне двое —
 Конь ослепший, когда-то гнедой,
 И помеченный жизнью воин —
 С самодельной сосновой ногой...
 Конь копытами бьет по настилу,
 Деревяшкою вторит дед,
 Так и будут стучать до могилы,
 Пока держит их белый свет...
 Над конюшнею осень злая
 Переводит в бураны дожди...
 Их друг к другу мороз прижимает —
 Надо зиму опять пережить...
 Не поймут, чьи глаза, чьи ноги,
 Стало много тягучего сна —
 Рысака донимают дороги,
 Дядю Гришу взрывает война.
 Конь подругу во сне догоняет,
 Задыхаясь, сбиваясь с пути;
 Старшина по степи ковыляет,
 Ищет ногу — не может найти...
 И, обнявшись, все медленней дышат —
 Конь с протезом? Гнедой человек?
 А заснут, и завалит крышу
 Беспробудный тяжелый снег...
 Будет падать, лететь ежедневно,
 Заровняет последний след...
 Жил с конем дядя Гриша в деревне,
 Жили-были... Теперь их нет...

На Песьей Деньге

Доброй памяти Галины Пинигиной

*Иван Грозный, переезжая на коне речку
 около Тотьмы, уронил в нее монету.
 Когда ее попытались отыскать, мах-
 нул рукой: «Да пес с ней, с деньгой...»*

Из легенды

В Вологодском краю, на угоре Фетиха
 Предлагает мне женщина чай озорно:
 Что-то шепчет воде притаенно и тихо,
 Самовар раздувает, как в старом кино,
 И брусничное ставит на скатерть вино.



Загорелым плечом, словно шелком, играет
И глядит, как играет на солнце река,
Точно денежки медные перебирает:
Говорят, что однажды монаршья рука
Обронила монету в нее свысока...
Сероглазо смущаясь, на «о» налегая,
Скажет женщина, мило губами лучась,
Осторожно мне чай по столу придвигая,
Что «вода в нем живая, а не покупная.
Брали утром в ключе у ручья»...
И глаголы откроют мне древние дали,
И соборы поставят свои паруса,
И за Деньгою колокол басом ударит,
И ребячьи добавятся в звон голоса,
И рассыплются эхом по длинным лесам...
А она с удивлением нежным и зыбким
Станет благовест в сердце свое опускать,
Улыбнувшись на звоны... И с детской улыбкой
Будет вовсе недетское видеть и знать.
Только мне не решится сказать...

* * *

Весь лес распахнут и прозрачен
И чист, как вымытые сени,
Здесь на спирту крутом, горячем
Настоен лист осенний
На деревьях... А под ногами,
За шелестящими шагами
В сто тысяч крошечных мышат
Сто тысяч шорохов шуршат.
Лес переполнен светом, цветом,
Насыщенным, хоть отжимай
Июль, июнь и даже май
С веселых и пьянящих веток...
Пью у рябин бордо и охру,
Янтарь — у буйных тополей,
У клена восхищенно охну:
«Мне малость алости налей!»
И пьяный в осень до предела
Вернусь под звездами домой —
С душою новой, новым телом
И с разноцветной головой...

* * *

По декабрю метель метет, и снег подваливает,
 По декабрю отец идет и снег похваливает.
 Он все хвалил, он русским был: душа — рубашечка,
 Возьмет гармонию, и песни — эх! Нарастапашечку!
 По декабрю отец идет, к конюшне правится,
 А лошадиный рад народ — встречает, хвалится:
 Кто кошей, а кто дугой, гнедой — объятьями,
 Отец любил поговорить с коневой братией...
 Потом во двор к себе идет и по порядку
 Все оглядит, топор возьмет «для физзарядочки» —
 И ах! да ах! по чурбакам — витым, березовым,
 Растет поленица в снегу и пахнет розами.
 А в доме, ясно, будут ждать, его выглядывать,
 И озабоченная мать — обед подгадывать.
 В избе уют и теплота... Иконка старая...
 Он... руку сдержит для креста, как и при Сталине...
 Засело прочно, не забыть, хотя и надо бы,
 Да не дадут, напомнят всё с портретов взглядами
 Отец, расстрелянный весной (и не сказали где),
 И тесть, истерзанный войной, с тремя медалями.
 Мать будет сало нарезать и борщ помешивать,
 Отец же — руки потирать (сто грамм обещаны!).
 У окон крепкая скамья для четверых ребят,
 На ней как будто сыновья чин-чинарем сидят...
 Да где? Разъехались давно — зови, аукай;
 Отец мечтает — хоть бы раз на зорьку с внуками.
 Позднее сядет сеть вязать, и петля захочется,
 А после письма всем писать... И день закончится...

Поземкой долго снег несло, потом прояснело,
 А солнце село за селом у дальней пряслины.
 По декабрю отец ушел... Нас приморозило...
 А родом был отец-сокол из Новорозина*.

* * *

Всё падают, сыплются звезды,
 Сгорают то дальше, то ближе.
 А может, и правда он создан,
 Наш август, чтоб думать о жизни.
 Сидеть на крыльце до рассвета,
 Сжимая невзгоды в горсти,

* *Новорозино* — деревня в Новосибирской области, расположена на полуострове знаменитого озера Чаны. Образована украинскими переселенцами в 1857 г.

Надеюсь, что русское лето
 Немного еще погостит
 В березовых чутких селеньях,
 Где вскинется звук в тишине,
 Когда паутинку заденет
 Мизгирь невесомый во сне...
 И Родины лик покаянный
 Проступит в любимом краю —
 Так скорбно смущается мама,
 Наверно, в забытом раю.
 Всю жизнь через звезды просеешь,
 Храня испытующий взгляд,
 Заплачешь и пожалеешь,
 Что снова родиться нельзя...
 А звезды цветут, прорастая
 Из бледно-морозных глубин,
 И холодом сад задувает,
 Где ты на рассвете один.

Степной дождь

Поскорее вбирайте, глаза, этот дождь вперехлест,
 Эти тучи слепые над мокрою дикою степью,
 И в ракитовых зарослях пляшущий проблеском плес,
 И траву, и озер камышово-рогозные крепи.
 Пожаднее, и уши, впитайте все звуки дождя,
 Эти шорохи, шелесты, шепотов страстный захлеб,
 Бормотание в лужах, которое, в плач перейдя,
 Заставляет почувствовать зимний, внезапный озноб...
 Да... И запахи нам не забыть прихватить бы с собой:
 Раздувайтесь по-древнему, бывшие скифские ноздри,
 И вдохните в себя и польнь, и сырой зверобой,
 И шиповник под яром, цветущий так жадно и поздно,
 И туман незабудок — легчайший и голубой.
 Торопитесь, спешите, ведь некогда, некогда ждать —
 Мимолетность воды так стремительно-неуловима,
 Взмах ресниц — и уже обертоны другого дождя
 Крутят бешеный ливень — азартно и неутомимо.
 Все заполнено, сложено, спрятано в памяти... Так?
 А теперь за работу, бродяжья степная душа,
 Разбери этих запахов, звуков, цветов кавардак,
 Чтобы влагой небесною дом в суховея задышал,
 Чтоб бумага отволгла от строчек живых (не чернил) —
 Тех, которых, мытарясь и мучаясь, ищем и ждем,
 Чтоб зашедший сосед с удивлением трезвым спросил:
 «Отчего у тебя на веранде так пахнет дождем?»

* * *

Он ходит и ходит у низеньких окон,
Где ставни рассохлись и краска пожухла
И где доживают, не плача, не охая,
Поникшие избы, чье время потухло.
А раньше стояли прямые, высокие,
На улицах, будто в густом сосняке,
Живицею пахло. А вечером цокали
Копыта по конному спуску к реке.
Он помнит крылечки, шесты голубятен,
Заносчивых турманов и вертунов,
Над речкой десятки порхающих пятен
И созывающий свист пацанов...
И как белохвостый любимый чубатый
На крышу отцовскую с неба слетал
И, доверяя, как старшему брату,
Потом на плече у него танцевал...
И как в сорок пятом, уже без шинелей,
Одни — на колясочках, он — без руки,
С махорочной братией пьяно шумели
На пристани старой у сонной реки...
Он все пережил вместе с улочкой древней,
Сапер угловатый с пустым рукавом,
Рубивший дома по соседним деревьям
Одною рукой фронтовым топором...
С лицом медно-красным стоит на закате,
Хоть вечер, а солнце еще горячо...
И ждет не дождется — вдруг белый чубатый,
Воркуя, слетит на плечо...



Игорь МОСКВИН

НЕСКОЛЬКО МГНОВЕНИЙ ИСТОРИИ

М и н и а т ю р ы

Первая дуэль в России

Немецкая слобода, 29—30 мая 1666 года

Тридцатилетний офицер, недавно поступивший на службу к русскому царю, Патрик Гордон стоял на деревянном крыльце, украшенном затейливой резьбой. Нынче был двойной праздник: он переехал в новый, еще пахнувший свежим деревом дом и сегодня день рождения Карла II, недавно возвратившего родительский трон, трон короля Англии и Шотландии, чьим подданным являлся ныне русский офицер.

Утренняя прохлада овевала его лицо свежестью. Офицер с жадностью вдыхал чистый воздух, словно плотными волнами плывущий над слободой на правом берегу реки Яузы, прозванной Немецкой. На востоке только появилось из-за горизонта еще не режущее глаза солнце. Облаков и туч не было. Значит, погожий будет день, пронеслось в голове Патрика.

— Том, — обернулся он и крикнул в открытую дверь: — Где тебя черти носят?

Из глубины дома раздался неразборчивый ответ.

— Сюда иди, сукин сын. — В голосе Патрика не слышалось ни злости, ни раздражения, лишь нотки равнодушия.

В проеме двери показался слуга:

— Сэр, вы меня звали?

— Звал. — Отвернулся, подставляя лицо лучам солнца. — Ты купил вино для сегодняшнего застолья?

— Да, но Ференц пригрозил, что больше в долг отпускать не будет.

— Как так?

— Так за вами долг еще с зимы, вот он и ругается.

— Я ему дам, — пробурчал Патрик, — офицера подозрением унижать. Будет ему...



Том привык к беззлобным тирадам хозяина. Торговец пошумит-пошумит словесно, а ссориться с англичанином не захочет, благо Патрик Гордон на хорошем счету у русского государя Алексея Михайловича. Да и долги всегда возвращает Ференцу с прибытком.

— К полудню из трактира принесут молодых поросят, жаренных на вертеле кур, бараний бок, хлеба...

— А у Трофимыча заказал? — перебил слугу Патрик.

— А как же! И рыжиков соленых, и капусты квашеной, и клюквы...

— Ладно, ступай. — И оперся руками о перила.

Не хотелось упасть лицом в грязь перед сослуживцами, которых пригласил на дружескую пирушку, тем более некоторые из офицеров недавно приехали и хотелось узнать, что там новенького в родной Шотландии происходит после реставрации прежней династии, которая была отодвинута жестокой рукой лорда-протектора Кромвеля.

Потом возвратился в свою комнату, где висел отутюженный мундир с золочеными пуговицами. Привел себя в порядок, последними натянув до блеска начищенные сапоги. Подправил усы, обрезав торчащие волоски. Своим видом остался доволен.

...Гости начали собираться после полудня. Их было немного, но все — подданные английской короны, приехавшие в русские края для управления финансовых дел.

За столом слева от хозяина сидели майоры Монтгомери, Бернет и Лэнделс, справа подполковник Крофорд и единственный штатский — мистер Эннанд.

— Господа! — поднялся с серебряным кубком в руках хозяин дома. — За здоровье нашего короля Карла, волею судеб вернувшегося на отчий престол!

Гости шумно поднялись.

— За короля!

— За нашего короля!

— За его величество!

Дружеское застолье началось. Родная английская речь звучала за столом, шутки, подтрунивания ни на минуту не прекращались. И не было розни между англичанином и шотландцем, которые испокон веков недолюбливали друг друга, каждый считая себя выше. Здесь, на чужбине, они все были соотечественниками, оторванными по воле случая от родных краев.

Винные пары раззадорили сидящих, лица покраснели, гости раскрепостились.

— Почему мы не пьем за столь гостеприимного хозяина, — поднял чашу Бернет, расплескав половину налитого вина, — за господина Гордона? — И осушил до дна.

— Удачи сэру Патрику!

— За будущего генерала!

— Виват! — выкрикнул майор Лэнделс, лет пять тому служивший в коронном войске польского короля и с тех пор приобретший привычку к польским здравицам. — Виват!



Монтгомери, сидевший молча и вливавший в себя беспрестанно чашу за чашей, поднял взгляд от стола:

— Да будет благословенно наше королевство во веки веков и падут пред его величием остальные!

— Славно сказано, славно.

— И сгорят в огне недостойные нас варвары, особенно проклятые московиты с их ужасными традициями.

— Сэр, — отставил в сторону чашу Патрик, — не следует ругать руку, сыплющую в ваш обедневший карман золото.

— Не я стремился сюда, — поднялся на ноги Монтгомери, опрокинув изящный стул, — я, как побывавший в кровавых сечах и имеющий военный опыт, приглашен в этот край, где не чтят моего древнего рода.

— Да бросьте вы, мы для них иноземцы, и стоит уважать их законы.

— Иноземцы... — передразнил Патрика Монтгомери. — Я должен чувствовать себя хозяином, и эти рабы должны быть послушны не только моим приказам, но и каждому моему желанию.

— Успокойтесь. — Гордон положил руку на плечо выпившего приятеля, которому слуга уже подставил стул.

Тот покрасневшими глазами посмотрел на хозяина и грубо сбросил его руку:

— Если вы, Патрик, привыкли лебезить перед рабами, то мой древний род диктует мне быть выше всех.

— Да угомонитесь вы! Мы живем в чужом краю и должны почитать законы страны, которая дала нам приют.

— Может, я должен кланяться их царю, когда он проезжает по грязным вонючим улицам своей столицы?

— Так и есть, — примирительно опустил Патрик руку на кисть Монтгомери. — Мы в чужой стране, и это накладывает на нас обязанность вести себя с честью.

— Какая честь? — опять сбросил тот руку Гордона. — Разве она есть в этом варварском краю?

— Вы ошибаетесь: честь превыше всего и она всегда при нас...

— Но не при этих варварах. — Монтгомери опрокинул со стола миску с квашеной капустой и мочеными яблоками. — Если вы, Патрик, привыкли к их еде, к их дымным баням, то вы перестали быть настоящим англичанином, тем более что вы уроженец придатка королевства — Шотландии.

Гордон не сдержался и плеснул в лицо сослуживца оставшимся в чаше вином.

Монтгомери медленно отер лицо рукавом, положил руки на край стола:

— От вас, сэр Патрик, я требую удовлетворения! Такое оскорбление смывается только кровью. — Он поднялся и окинул взглядом сидящих за столом, вмиг притихших. — Хью, — обратился он к Крофорду, — будьте моим секундантом. (Тот сделал попытку примирения, но тщетно.) Завтра на рассвете я жду вас, Патрик, за ручьем Кукуй. — И не совсем твердой походкой покинул застолье.



Рано утром Том едва разбудил своего хозяина, перебравшего вчера вина. Голова гудела, словно колокола на Василии Блаженном. Патрик схватил кувшин и с жадностью, проливая на расстегнутую на груди рубашку, стал пить холодную колодезную воду. Немного полегчало, и он, преодолевая недуг от вина и спотыкаясь неспешными, непослушными пальцами, начал одеваться.

Сперва Гордон заехал к майору Лэнделсу, согласившемуся быть его секундантом, уже с ним — к Бернету. Том тенью следовал за ним.

Всю ночь лил теплый весенний дождь, и поле за ручьем превратилось в непроходимую вязкую жижу. Пришлось отъехать дальше, где почва была приемлемой.

— Как вы предпочитаете провести поединок? — обратился Крофорд к Патрику.

— На усмотрение моего соперника, — сказал Гордон, испытывая неприятные позывы организма к извлечению из него вчерашнего вина.

После разговора с Монтгомери подполковник возвратился и произнес:

— Мы предлагаем конную дуэль на пистолетах.

— Я не против, — кивнул Патрик.

Их развели на расстояние двадцати шагов. Слуги, державшие лошадей, отошли в сторону, и майор Бернет дал команду к сближению.

Что один из дуэлянтов, что второй не очень хорошо себя чувствовали после неумеренного питья, тряска в седле не добавила хорошего самочувствия, поэтому оба промахнулись. По правилам они могли воспользоваться вторыми пистолетами. Патрик был на резвой лошади, которая слушалась каждого движения всадника, и он первым оказался за спиной противника. Но у него не было желания пользоваться своим преимуществом и стрелять в спину Монтгомери. Они одновременно подъехали к секундантам.

Патрик безучастно смотрел на соперника; тот наклонился к секунданту и что-то шепнул.

— Наше предложение — биться пешими на саблях.

Он повернул лицо к Бернету и Лэнделсу, они взглянули на Гордона, который кивнул головой:

— Мы согласны, только вместо сабли я буду драться своим оружием.

Патрик спешил и передал уздцы слуге, сбросил на землю кафтан и достал из ножен полуэсток — короткую кавалерийскую шпагу.

Монтгомери подозвал секунданта и опять что-то прошептал ему.

— Сэр Монтгомери готов драться на палашах.

— Я тоже не против, — бросил второй дуэлянт, но оказалось, что палаш только один.

— Тогда остается биться на полуэстоках, — предложил майор Бернет, — либо послать гонца в слободу за вторым.

— Мне надоела комедия, — громко произнес Гордон, — я не хочу больше ждать. У нас есть шпаги, за чем же дело?

Взгляды обратились к Монтгомери, который, зная хорошее владение указанной шпагой Патриком, глухим голосом сказал:



— Я буду драться только палашом.

— Хорошо. — Гордон подозвал Тома и отослал его в слободу за палашом.

Через несколько минут явился мистер Эннанд:

— Господа, вместо ожидания давайте проедем в трактир и пропустим по чарке.

Уговаривать долго не пришлось, хотя до примирения дело не дошло. Сговорились встретиться на завтра здесь же. Но вечером купцы приложили все усилия, чтобы примирить товарищей, ставших вдруг врагами.

А на следующий день десятские люди, которые осуществляли полицейский надзор в Немецкой слободе, донесли о происшествии Алексею Михайловичу. Поначалу осерчал вспыльчивый царь, но благодаря вступившимся за Гордона придворным вскоре остыл и дуэль особых последствий не имела. Однако десятским дан был наказ:

«Ведать тебе и беречь накрепко в своем десятке и приказать полковникам и полуполковникам, и нижним чинам начальным... и иноземцам, чтобы они... поединков и никакого смертного убийства и драк не чинили...»

Караул

Санкт-Петербург, 29 октября 1715 года

На столе вился огонек свечи, и тревожные тени метались по стенам. Стукнула входная дверь. Петр Алексеевич вздрогнул — не ждал в столь поздний час никого. Потом протяжно скрипнули половицы.

— Мин херц, Катерина Алексевна от бремени разрешилась. — Александр Данилыч подошел неслышно, словно зверь хищный.

Петр Алексеевич вцепился в край стола, так что побелели костяшки пальцев от напряжения. Ожидание томило, не давало покоя.

— Не тяни, Данилыч, выпорю.

— С наследником тебя, государь! — Взгляд с прищуром, будто смеется.

— Ну и слава богу! — осенил себя царь крестным знаменем. — Когда?

— Давеча, получасу не прошло.

— Отчего за мной сразу не послали? Опять замышляете очередную каверзу?

— Да ты что, мин херц? Супротив тебя? Исхода ожидали.

— Ну, Сашка, выпорю на конюшне за медлительность. — Вскочил на ноги, стул полетел в сторону. — С такой радостью мигом у меня должен быть.

Александр Данилыч отпрыгнул в сторону, ожидая, что Петр, как и обещал, потащит за шиворот на конюшню — как наемни за казенные дела. До сих пор спину ломит.

— Что пугливым стал? Опять небось за собой провинность чувствуешь?



— Мин херц, истинный крест, — перекрестился, — веришь, в тот раз бес попутал. Не хотел же руку в казну запускать, ей-богу, бес попутал, исправлюсь.

— Который год одну и ту же сказку слышу. Ради наследника в последний раз прощу, — погрозил пальцем, — а завтра поутру я тебя все равно высеку.

Александр Данилыч сделал покаянное лицо:

— Нет, мин херц, я на это согласиться не могу.

Петр даже остановился от неожиданности:

— Да кто тебя спрашивать будет?

— Что же мне, до завтра умирать со страху, ожидая, что ты непременно меня вожжами отходишь? Не лучше ли сейчас? Я за вожжами мигом.

— Бестия, всегда у тебя в кармане ответ лежит. Прощаю тебя, Данилыч, но смотри, на конюшню сошлю хвосты лошадям крутить.

— Мин херц, ты куда? К Екатерине? Может, я с тобой?

— Я сам. — И быстрым нервным шагом царь пошел к выходу.

Теперь уже Александр Данилыч слышал, как стукнула входная дверь, и все стихло.

Петр почти бежал — хотел сам, своими руками город потревожить колокольным звоном с башни, благо было недалеко. Долгожданный наследник — внутри все пело! Черной громадой уходил навстречу звездам деревянный шпиль Адмиралтейского двора. Еще не отзвонили о полуночи церковные колокола.

Дверь заперта. Петр забарабанил кулаками.

— Есть кто живой? — крикнул с досады.

Часовой отпер маленькое смотровое окошко:

— Кто там?

— Не узнаешь государя своего? — рявкнул Петр, стукнув ногой по деревянной двери, окованной полосками железа.

— Что кричишь? Вишь, закрыто, — недружелюбно выглянул часовой. — Шум поднимать будешь — пальну. Расходились тут всякие! Кыш отседова!

— Как ты осмеливаешься со мной так говорить, дубина? Да я тебя... — хотел сунуть руку в оконце, но, получив по пальцам, отдернул, — да как ты... Да я тебя в Сибирь, да я тебя...

— Видали мы таких тебялок. А ну, прочь!

— Слышь, ты...

— Пошел, говорю, отсюда, — спокойным голосом произнес часовой, и послышался щелчок взводимой на ружье собачки. — Шутковать не буду. Стрельну или подмогу кликну, потом разберутся с тобой в приказе. Иди, милай, иди. Поди выпись, небось лишнего глотнул?

— Да как ты смеешь со мной...

— Иди прочь по-хорошему, — голос часового начал звенеть, — другой раз повторять не стану.



В окошке появился на вершок ствол ружья. По лицу Петра пронеслись разные чувства. Вытащить бы эту дубину да тумачков надавать — ан нет, не войти: сам же следил, как ворота ставили.

— Ты что, меня не узнаешь? Посвети, — сказал царь.

— На что мне? Мне дан приказ никого не пущать — вот и не войдет никто. А буянить будешь — стрельну.

«Как же забыть мог, сам же такой приказ отдал! — Петр сквозь горечь обидных солдатских слов нашел силы улыбнуться, слушая грубую отповедь часового, и внутренне радовался точному исполнению своих повелений: — Молодцом!»

— Братец, — теперь уже иначе начал он, сдерживал от крика голос. — Я, действительно, отдал такой приказ, но я же могу и отменить его?

— Господин хороший, не мешай службу нести. Стрельну и не посмотрю на титулы твои. Иди подобру-поздорову и зубы мне не заговаривай.

Петра Алексеевича позабавили слова часового, однако он не привык идти на попятный. Наследник же родился! «Все равно колокола оповестят город о рождении наследника, — подумал. — Или я не царь?»

— Проваливай, не то спроважу тебя по-своему. — И солдат начал было дверцу закрывать, видимо, передумал стрелять.

— Постой-постой, — Петр быстро заговорил и задержал рукой дверцу, успев убрать пальцы от нового удара, — ты от кого приказание слышал?

— От моего унтер-офицера.

— Он может приказ отменить?

— Знамо дело, он же мой командир.

— Тогда зови его.

Дверца захлопнулась, изнутри послышался железный скрежет, засов задвинули. Петр поглядывал на небо. Ишь ты, не только звезд высыпало, а и полный месяц светит! Добрый знак, улыбнулся он.

Послышалась возня, и маленькая смотровая дверца медленно отворилась.

— Что ты хочешь, мил человек? — голос поглубе.

— Я — Петр Алексеич, государь ваш, и требую, чтобы меня впустили. — Голос царя дрожал (на дворе конец октября, а он даже на плечи ничего не накинул — задубел). — Приказ свой отменяю!

— Не имею возможности.

— Что так? — Петр остолбенел. — Что за напасть?

— Никого не смею пропускать, будь ты действительно государь. — Унтер-офицер внимательно смотрел на Петра Алексеевича. — Ибо имею приказ никого под страхом смерти своей не пускать.

Внутри царь начинал закипать. Становилось неприятно до дрожи в руках, которая появлялась в минуты раздражения.

— Кто такой приказ тебе отдал?

— Мой командир.

— Зови его.

— Шустрый ты, мил человек. Может, самого государя тебе привести?

— Вот-вот. И его тоже. Я не намерен ждать. Зови командира и предупреди, что Петр Алексеевич желает с ним беседу иметь.

Через некоторое время дверь в Адмиралтейство распахнулась и вышел офицер с факелом в одной руке и пистолетом в другой.

— Кто здесь буянит? А?

— Ты узнаешь меня? — произнес озябший царь, клацая зубами.

Офицер осветил лицо Петра, и у него затряслись руки, огонь факела плясал в воздухе.

— Да, государь, узнаю.

— Кто стоит сегодня в карауле?

Офицер доложил, а у самого кошки на душе скребли: царя не пустили, теперь жди беды. Не было счастья да, видно, и не будет.

Петр Алексеевич быстрым шагом поднялся на колокольню. Там опустился на колени и с четверть часа благодарил Господа за милость в рождении наследника. Потом начал дергать за веревки и над городом понесся звон. Когда устали руки, прекратил, спустился вниз.

— Значит, — и он назвал фамилии, — заставили государя мерзнуть на морозе?

Офицер попытался что-то сказать, но Петр на него цыкнул.

— Утром жди в казарме. — Напоследок скользнул глазами по солдатам и пошел прочь.

Офицер молчал.

А наутро Петр явился с бумагою в руке; за ним следом, прихрамывая, шел Александр Данилыч, держась за ноющие от битья бока. Все же досталось под горячую руку, на конюшне погуляли по нему вожжи.

Перед строем государь сам зачитал приказ: часовой производился в унтеры, унтер — в офицеры, а офицеру давался следующий чин.

После царь напутствовал:

— Продолжайте, братцы, так же строго исполнять мои приказания и знайте, что за это вас ожидает награда.

Тесак

Санкт-Петербург, 1716 год

Иной раз любил Петр Алексеевич, скинув царские одежды, обрядиться в простого солдата и по кабакам походить да послушать, о чем честной народ беседы ведет. Интересно ему было, как к нему относятся и считают ли его достойным уважения и трона.

Надел серый кафтан и через потайную дверь — чтобы никто не видел! — в город. Недалеко от Адмиралтейства кабак был, который многие служивые посещали в свободное от несения службы время. Петр открыл дверь, и ему в лицо так пахнуло пережаренным маслом, луком, мясным духом, что даже в животе заурчало. Царь припомнил, что едал только в обед, и то на бегу: спешные дела не давали спокойно приесть.



Обвел взглядом залу: кое-где по углам горели свечи, хоть и было сумрачно, но не так, как на улице, где осенняя ночь опустилась на город. Стоял гул — словно пчелы у улья. В самом углу Петр Алексеевич приметил сгорбленную одинокую фигуру и направился туда.

— Что с тобой, братец? — спросил, усаживаясь напротив.

Сидящий оказался солдатом. Перед ним был штоф, глиняная миска и кусок хлеба.

— Беда. — Махнул рукой, потом поднял штоф, хотел было налить в кружку, однако емкость оказалась пуста. — Кругом беда, — потряс четырехгранной бутылкой, — даже и тут все кончилось.

— Ну, это не беда, — отвечивал Петр. — Целовальника кликнуть — так вмиг принесет.

— Ни полушки в кармане... — посетовал солдат. — Где наша не пропадала! Эй, — он махнул, и в тот же миг подскочил мужчина лет пятидесяти с бритым лицом, — две чарки, живо!

Петр Алексеевич пошарил по карманам, но ни в одном не оказалось даже медной монетки.

— И вправду, что за напасть? — произнес вполголоса.

— Что, мил человек, и ты гол как сокол?

Царь положил кулаки на стол. Целовальник не заставил себя долго ждать, поставил перед солдатом и Петром Алексеевичем по чарке.

— Служивый, — сказал со слащавой улыбкой на лице кабачник, — неплохо было бы и расплатиться.

Солдат посопел с минуту и снял с пояса тесак, выданный на службе.

— Вот, — он с силой тукнул по столешнице, — неси два штофа и хлеба с потрохами. Чай, это, — показал на тесак, — дороже стоит?

— Ты что? — Петр положил руку на оружие. — А как смотри?

— Не замай! — Солдат убрал руку царя, а целовальнику повторил: — Неси давай.

Когда на столе появились два штофа темного стекла, миска с потрохами, хлеб, Петр Алексеевич вновь не стерпел:

— Что ж ты наделал, голова твоя стоеросовая? А ну как смотри государев — что тогда?

Солдат нетвердой рукой разлил по чаркам.

— Ты, я вижу, голодный, — придвинул к царю миску с потрохами, — ешь. Брюхо — оно тепло и сытость любит.

— Горе у тебя?

— Друзе мой сердешный вчерась помер. С ним пуд соли съели да на брюхе всю Расею-матушку проползли.

— Тогда стоит. — Царь поднял чарку и одним махом осушил. — Мучения друг принял?

— Нет, — солдат перекрестился, — Бог миловал: заснул мой друг и не проснулся, тихо отошел, будто ангелы на небо душу грешную забрали.

— Бывает.



— А по смотру, — солдат хитро улыбнулся, — что мне, царя не обмануть? Вона турков со шведами надули — и царя-батюшку надуем.

Так и просидели в кабаке за разговорами, пока колокола Адмиралтейства не оповестили о полуночном часе.

Сон у Петра Алексеевича в эту ночь был беспокойный, словно не он врагов гонял, а они его одолели и он по лесам, полям от них скрывался. Проснулся в плохом настроении, грудь теснило, в голове шумело. Потребовал у дежурного офицера рюмку водки, соленый огурец и приказал седлать коня.

«Как же молодец выкрутится из положения, ведь тесак-то продал? — подумалось царю, а самого любопытство распирает. — Надо смотр роте устроить». И решил, не медля ни минуты, ехать в полк.

Выстроили нужную роту, благо вчера о себе служивый много порассказал.

— Здорово, молодцы! — подтянулся Петр Алексеевич.

В ответ грянуло дружное приветствие.

Царь в первом ряду заметил давешнего сотрапезника, но виду не подавал. А солдат ни жив ни мертв — сообразил, с кем вчера два штофа опустошил. Государь на ухо ротному что-то шепнул, и тот дал приказ солдату выйти из строя. Служивый остановился в трех шагах от Петра, сам бледен, как снежный первопуток.

— Приказываю, — громко сказал в воцарившейся тишине царь, — достань тесак и руби меня со всего размаха.

Солдаты замерли, даже ротный командир рот от удивления открыл.

— Господи, — взмолился служивый, — не имею мочи поднять оружие на государя своего.

— Руби, я тебе приказываю!

А у самого взгляд озорной — как же выкрутится из щекотливого положения сотрапезник?

— Выполняю царский приказ! — прокричал солдат так, что слышали на дальнем конце плаца. — Только молю Царя Небесного сотворить чудо и помочь мне. Царь Небесный! Ты выше царя земного! Сотвори чудо! Не дай погибнуть невинной душе! Преврати железный тесак в деревянный! — И вытаскивает из ножен кусок дерева.

По рядам пронесся вздох облегчения, а ротный командир зашатался, схватившись рукой за грудь. Только Петр Алексеевич улыбнулся, подошел и обнял за плечи:

— Говори, что же произошло?

Солдат, заикаясь, тихо произнес:

— Так я хотя и пьян, но службу знаю. Прежде чем спать, из деревяшки тесак выстругал.

— Молодец. — Царь похлопал солдата по спине, потом отстранился. — За сметливость твою — держи, — и сунул в руку золотой червонец, — только помни: второго раза не будет.

Свидетельница

Москва, март 1718 года

Удивительна Россия! Сколько я в ней живу — не перестаю испытывать удивление. Некоторое время тому я была представлена юной даме по имени Екатерина, которая оказалась скромной и застенчивой, не в пример ее брату князю Ивану.

Кротость и благоразумие Екатерины можно возвести в ранг добродетели, но это не дало ей возможности избежать присутствия на гнусном действе. Хотя она и сказывалась больной, это не возымело действия и бедняжке пришлось сидеть недалеко от царской ложи. Я по чистой случайности оказалась рядом с княжной и каждую минуту подносила к ее лицу серебряный сосуд с нюхательной солью.

Я видела его величество в открытой ложе с навесом: взгляд его прищуренных глаз иногда возвращался к сидящему рядом царевичу Алексею Петровичу, который своей бледностью и большими немигающими глазами походил на мраморную статую, привезенную из итальянских земель.

День выдался на удивление солнечным. Редкие облака иногда пробежали тенью по земле, и тогда приходилось прятать озябшие руки. Этот мартовский день на всю жизнь запомнился нечеловеческим зверством.

— Смотри, не отворачивай голову, — прошипел Петр Алексеевич, взяв за плечо сына. — Твои единомышленники. Смотри!

Еще миг — и Алексей Петрович лишился чувств, но присутствующий в ложе Меншиков поддержал его за руку и не дал свалиться на пол из неструганых досок.

Первым поднялся на эшафот Кикин. Царь позволил секретарю царевича облачиться в новое платье, словно бы выказывая добрую волю.

— За... — начал чтение капитан, держа перед собою царский указ, и в конце: — ...назначить четыре раза по сто ударов кнута и четвертовать.

Алексей Петрович так вцепился в деревянную ограду, что побелели костяшки пальцев, хотел было отвести взгляд, да не смог.

— Смотри, царевич, — шипел в ухо Петр Алексеевич, — там твое место, там. — Царь не стерпел, поднялся и махнул палачу: — Начинай, живо!

Услужливые руки сдернули с Кикина камзол, рванули белоснежную рубаху, и она полетела белым лебедем на деревянный настил. Кикин отстранил рукою палача, в последний раз кинул взгляд на царевича — у обоих блестели от слез глаза — и сам опустился на колени. Свистнул кнут, Кикин вздрогнул, но не проронил ни слова. На спине остался кровавый след, за ним второй, третий...

— Считай, царевич. — Рука Петра Алексеевича сжимала плечо сына, будто когти хищной птицы вцепились и вонзаются с каждым ударом все глубже и глубже.





Губы Алексея Петровича шевелились, и было не понять, действительно он считает или молится Всевышнему.

Ни звука не слышалось от секретаря царевича. Даже толпа притихла, потрясенная такой стойкостью. Свист и удар, свист и удар. Спина превращалась в кровавое месиво. На сто двадцать первом ударе ноги Кикина ослабли, он повалился на словно усеянный рубинами настил, его тело выгнулось дугой.

— Кончается, — вымолвили в толпе.

— Слава богу, отмучался.

— Крепок оказался телом.

Петр Алексеевич вскочил с места и крикнул палачу:

— Голову руби, пока жив!

Палач не смел ослушаться — схватил бьющееся в агонии тело и бросил на плаху. Едва успел опустить с размаху топор: еще мгновение — и заново пришлось бы поднимать тело с настила.

На лице Петра Алексеевича появилась хищная улыбка.

— Это покатился тебе подарок!

Даже со своего места я видела этот нечеловеческий взгляд, и у меня в голове мелькнуло, что ему, видно, доставляют удовольствие чужие мучения, но тут же отбросила прочь недостойные мысли.

Царь махнул рукой, и на эшафот поднялся камергер царевича Афанасьев. К этому, видать, не допустили родственников, или они поспешили отказаться от него. На нем был надет поношенный камзол с поблекшей позолотой.

Капитан начал читать приговор, который, как и следовало ожидать, закончился словами:

— ...через отрубание головы.

Афанасьев скинул камзол, не успели ему помочь, поклонился толпе, три раза перекрестился:

— Да простит Господь тем, кто не ведает, что творит!

Через малое время кровь брызнула из освобожденной от головы шеи; я не успела закрыть глаз, чтобы не видеть очередного смертоубийства.

— Второй подарок, — произнес Петр Алексеевич. — По душе ли тебе мои подарки?

Царевич молчал. Я видела, как по его бледной щеке пробежала слеза. Но он не торопился ее вытереть, боясь пошевелиться, чтобы не накликать гнева.

Епископ Досифей взошел в цивильной одежде: даже в смертный час царь запретил ему надевать монашеское облачение.

— Вот они, твои святоши, — сквозь зубы цедил царь, — готовые православную веру продать цезарцам, и ты их слушал, глупец!

— ...через колесование, — прозвучали последние слова.

Епископ на каждый взмах железного лома отзывался криком боли, словно исходящим изнутри. Страшно было слышать его дикий голос, да уйти нельзя. Царь, казалось, следил за всеми лицами, отмечая для себя — кто следующим может оказаться среди пролившейся крови.

— Голову на кол, — отдавал указания Петр Алексеевич, когда голова покатила по настилу, — на кол!

Мне хорошо видно лицо царевича: он держался из последних сил, еще секунда — и опять рухнет без чувств. Но, наверное, страх перед отцом был сильнее, и Алексей Петрович смотрел незрячими глазами.

Поклановского царь не стал лишать жизни, а после битвы кнутом приказал отрезать сперва язык, а потом нос и уши и этапом отправить в Сибирь.

К трем часам пополудни остался последний наказываемый — майор Глебов. На площадь его привезли ранее на санях в шесть лошадей. Он дожидался своей участи три часа. Я видела Глебова, в его глазах читалось: «Скорей бы!»

Глебова положили на стол, сорвали штаны и в задний проход воткнули деревянный кол. У меня складывалось впечатление, что вогнали до самой шеи. Восемь человек отнесли его и водрузили на возвышенном месте. Кол устроен так, что имел поперечную перекладину — несчастный мог сидеть на ней.

Петр Алексеевич с улыбкой подошел к посаженному на кол майору: — Будешь и далее упорствовать, глупец? Неужели на смертном одре не покаешься в преступлении?

Почти год Петр Алексеевич добивался признания Глебова в прелюбодеянии с бывшей царицей: ему было бы легче и он мог бы помиловать несчастного майора, если бы тот сознался, что жил с царицей из-за денег. Однако Глебов упорствовал и даже пытки не смогли сломить его.

В первый раз майора подвесили к потолку, и Петр Алексеевич не стерпел, что тот не произнес ни слова. Сам отходил кнутом и вместо положенных пятнадцати ударов отмерил почти сорок. А через несколько дней, когда Глебов пришел в себя, приказал жечь железом незажившие раны. Последнее, что слышал Петр Алексеевич: «Не виновен я, государь, напраслину на меня возвели... и на царицу».

Тогда плюнул и ушел. Только через несколько месяцев вызвал опять Глебова и самолично жег раскаленными щипцами, прикладывая к рукам и ногам. Майор не сознавался: «Господь видит, что невинную душу пыткам подвергаешь, государь. Не по-христиански это».

Потом наступил черед последнего испытания: Глебова положили на доску с вбитыми остриями кверху гвоздями. Три дня пролежал майор на них. Когда дух из него начинал выходить, поливали водой — боялись царского гнева в случае смерти.

— Будешь и далее упорствовать? Неужели на смертном одре не покаешься в преступлении? — повторил Петр Алексеевич.

Глебов повернул голову и ответил обескровленными губами:

— Ты, должно быть, разума лишился? Думаешь, что теперь, после того как я ни в чем не признался под самыми неслыханными пытками, которые ты мне учинил, я буду бесчестить порядочную женщину? И это в тот час, когда у меня нет больше надежды остаться живым?.. Ступай,



государь, и дай спокойно умереть тем, кому ты не дал возможности спокойно жить. — И он плюнул ему в лицо.

Петр Алексеевич отер рукавом лицо, которое скривилось, щека начала дергаться.

— Надеть на него, чтобы не замерз, — и бросил палачу шубу, которую рванул с плеч Меншикова, — шапку надеть. А ты, — он подозвал жестом священника, — будешь рядом с ним, пока душа тело не покинет.

И, выбрасывая вперед не гнущиеся в коленях ноги, как цапля зашагал прочь, не удостоив никого взглядом.

Я обмерла, видя печать муки на лице Глебова. Мне стало дурно, и теперь я сама поднесла к лицу сосуд с нюхательной солью. Терпкий запах привел в чувство, но кружилась голова и болело в груди сердце, словно это я вишу там, на площади.

Прожект о завоевании Америки

Санкт-Петербург, 1723 год

День выдался тяжелым. С утра продолжил моросить мелкий надоедливый дождь, неделями не прекращающий падения с небес. Вот и задумался: зачем построил на болоте сей град? Хотя и отгремели недавно торжества по случаю Ништадтского договора, присоединены к государству новые земли, граница отодвинута на север... Двадцать лет трудов позади, а на душе пустота. Виктория в руках, а радости нет, словно отрезали нужные для жизни члены.

Петр Алексеевич сидел на деревянном кресле с высокой спинкой. Протянул руки к огню в камине: пробирала дрожь, невзирая на то что комната была жарко натоплена.

— Ну что там, читай! — произнес он, устремив взгляд на огонь, который весело потрескивал и не подозревал о плохом настроении государя.

— Тут прислан любопытнейший прожект Вашему Величеству.

Сегодня Петру докладывал поручик Ларионов, высокий, под три аршина ростом, и с конопатым лицом, возимый царем в последнее время с собою повсюду за знание восьми европейских языков.

— Опять кто-то из наших дураков небылицы шлет.

— Никак нет, — Ларионов зашуршал бумагами, — писано на голландском языке с приложением карт и названием «Прожект завоевания Америки».

— Господи, ох уж эти заморские гости, — пробурчал вполголоса Петр. — Как почуяли, что я силу набрал, так и норовят меня на кого-то натравить.

— Читать?

Его величество сперва хотел отмахнуться, да передумал:

— Читай.

— «Прожект о завоевании Его Цесарскому Величеству Великороссийскому зело великих и богатых земель с почтением за секрет предлагаемой».



Петр тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. Огонь длинными языками лизал толстые поленья. На некоторых капли смолы вспыхивали факелами с синеватым отливом.

— «В зюйдовой стороне Америки и Магеллании, в середине Бразилии и Амазонах с Гвианою числом больше 80 королевств, княжеств, провинций и народов, которые по сие число ни от какого европейского короля не завоеваны, большей частью с плодородными землями, богатыми не токмо лесом, но и металлами — серебром и золотом, — они легко могут быть завоеваны Вашим Цесарским Величеством».

Петр Алексеевич слушал вполуха: в последнее время бумагой, испи-санной такими прожектами, можно выстлатъ весь Петербург.

— «В тех землях находится сахар, кока, индиго, табак, кожи, шерсть, шелк и пенка, таж медь, железо, свинец, олово, селитра, ртуть. А особливо находятся в Малдонадах, Тупинамбах и прочих в изобилии богатые руды золотые и серебряные, таж золотой песок в земле и во многих реках и жемчужная ловля».

— Это все и у нас есть, и далеко плыть не надо. — Посмотрел на Ларионова, который поднял со стола второй лист. — А ты как думаешь?

— Я?

Поручик стушевался. Вопросы Петра Алексеевича всегда ставили его в тупик — как школяра, который не знает ответа.

— Ты.

— М-м-м.

— Не мычи, а ответствуй, раз царь спрашивает. — Его величество нахмурил лицо, но взгляд выдавал, что озорничает, как бывало в детские годы.

— Ну, ежели такие богатые края, то чего не повоевать? Только больно уж далеко плыть.

— Ладно, продолжай.

— «Автор сего прожекта в молодости своей в тех землях многия лета был и, проехав, усмотрел, что там крепостей нет, и изобилие в пище, и многия жители зело склонны под владением сильного короля быть и совершенно под его власть отдадутся, коль скоро надлежащая армия туды прибудет, не занимая ни гишпанских, ни португальских мест, которые близко находятся».

— Значит, не всю Америку гишпанцы себе отделили?

— Так тут писано.

— Н-да. — Петр Алексеевич с интересом посмотрел на оробевшего Ларионова, боящегося, что переводит он не так, как писано. — А что ж они далее не идут?

— Кто? — едва выдавил из себя поручик.

— Кто-кто? Гишпанцы с португальцами или те же англичане. У них и флот не в пример нашему.

Покачал головой: флот-то вроде есть, но большая часть построена наспех из сырого дерева. Сушить некогда было, надо на морях воевать и не давать неприятелю такого козыря, как в первую осаду Азова, ког-



да мы с берега осадили. Толку-то никакого: по морю турки получали и провиант, и порох, и оружие, и солдат. Интересно, дойдут ли корабли до Америки, не потонут ли? Или, не дай бог, не развалятся по дороге?

— Гишпанцам не до Америки, — подал голос Ларионов. — Какой год с французами воюют.

— И то верно, читай дальше.

— «К тому делу потребно двенадцать тысяч солдат, четыре тысячи драгун, лошади там найдутся».

— Найдутся, значит. Это ж сколько кораблей понадобится? — произнес Петр Алексеевич, и взгляд затуманился то ли в раздумьях, то ли в вычислениях.

— Тут далее сказано, — поручик водил пальцем по строкам, — шестьдесят больших судов, тридцать малых — для рек, десять военных — для конвоя.

— Шестьдесят судов? — Петр присвистнул. — Шестьдесят судов... — Задумался на миг. — А что? Негоцианты с большим желанием захотят там торговлю иметь. Как ты думаешь?

— Дак если там золото, серебро да камни, конечно, захотят. В Европе не больно наших жалуют.

— Скоро будут.

— «Надобно сорок тысяч ружей, провианту на семь-восемь месяцев, хотя обыкновенно в три месяца перейти можно».

— Гладко пишет, а не сказано ли, за сколько можно сии земли завоевать?

Ларионов пробежал глазами по бумаге:

— Есть. «И как оное войско в три или четыре месяца туды прибудет, то можно оные земли, а наипаче богатейшие в два или три года завоевать».

— Два-три года, — усмехнулся Петр Алексеевич. — Как просто годами разбрасываться, словно идешь, а они на дороге валяются: захотел — поднял, захотел — мимо прошел. Захотел — корабли от себя оторвал... Давай дальше, что он там еще пишет, голландец этот?

— Что касемо прибылей, то зело велики будут.

— И всё?

— Никак нет, тут далее перечисления идут.

— Так читай, — повысил голос его величество.

— По пунктам?

Петр Алексеевич одарил офицера таким взглядом, что у того дрогнул голос. Однако тут же зазвучал хотя и глухо, но внятно, чеканя каждое слово:

— «Его Цесарское Величество может из доходов той земли содержать шестьдесят или восемьдесят тысяч солдат, також до пятидесяти военных кораблей, несущих службу в Европе».

— Гладко писано, так шестьдесят или восемьдесят? Ты как мыслишь?

Ларионов промолчал, только ждал, когда Петр Алексеевич даст позволение читать дальше. Его величество задумался. Ведь такое число солдат лишним не будет, ведь собрался на восток, за Каспий. А Крым

как кость в горле, там тоже и корабли нужны, а для службы на них народ нужен.

Махнул рукой, поручик продолжил:

— «С каждого индianца ежегодно по ефимку, что также даст несколько миллионов. С каждой четверти земли по полгульдена в год. Нужно лучший договор учинить с Гишпаниею и Португалиею для торговли в Перу и Бразилии. Богатые земли пожаловать дворянам, дабы заселили русскими людьми».

— Она куда метит, — усмехнулся Петр Алексеевич и начал щипать ус.

— «Над покоренными землями поставить вице-короля и патриарха...»

— Во-во, вице-короля.

— «Те земли Цесарю на всякой год по восемьдесят миллионов гульденов прибыли принесут. А буде половина завоевана, то близ сорок миллионов принесут. И в кратком времени можно из тех земель вывозить до ста тысяч индianских солдат в Европу или в Азию против турков или иных врагов Его Цесарскому Величеству Российскому и к освобождению христиан из неволи и к поправлению врагов христианских».

— Вот завернул! И про христиан соизволил упомянуть, а паче про врагов моих. Давай далее.

— «Двенадцати российским господам земля быть дана столь велика, как Голландия, в графство, против дачи погодной подати Его Высокопомянутому Величеству».

— А почему двенадцати?

— Не могу знать.

Петр Алексеевич поднялся с кресла и прошелся по тесной комнате, задевая стол и шкапы. Огонь в свечах затрепетал, и тени побежали по углам, то кидаясь в атаку, то отступая в свои темные норы.

— И карта, говоришь, есть?

— Так точно. — Поручик развернул карту и прижал с двух сторон руками.

— Не надо, — остановился его величество. — Соблазнительный проект, но где корабли взять? Где деньги раздобыть? Хотя и это можно. — Задумался. — А что? Отправить туда Алексашку, тот, чай, давно себя королем мнит, даром что светлейший князь. Своего не упустит и другим спуску не даст. А, поручик, може и вправду отправить светлейшего князя вице-королем Американской России?

Ларионов выпустил из рук карту, которая с шуршанием свернулась в трубку. Вытянулся во фронт.

— Молчишь, — провел рукою по свернутой карте и вернулся в кресло, — то-то же. Там, почитай, половина земель пустует, — задумчиво сказал Петр Алексеевич. — Да и золото с серебром гишпанцы кораблями везли, пока им хвост англичане не прищепили. Проект хорош, да больно дорого обойдется. Не уступят англичане моря свои, будут только препятствия чинить, а нам с ними на море воевать не с руки. Не сдюжим, флот маловат. — Помолчал. — Да и далековато. У нас она земель за Уралом — и поближе будет, и богатств не меньше, и не надо корабли снаряжать, посуху дойти можно. Хотя... Ух, нехристь голландская!



Справедливость

Каир, январь 1799 года

Месяц раджаб 1213 года начался в воскресенье.

В ночь на 27 раджаба (4 января 1799 года) три французских солдата тайно приблизились к дому шейха Мухаммада ибн ал-Джаухари. Один из них попробовал открыть окно, выходящее на улицу, когда двое товарищей подняли его за ноги, чтобы он смог дотянуться, — но безуспешно.

— Опускайте, — шепнул он.

— Что будем делать? — спросил другой; щека с глубоким шрамом подергивалась, и в темноте казался зловецим его оскал.

— Я наблюдал за домом, — так же тихо сказал первый, — в нем никого не было, а по виду там есть что забрать.

— Как попадем в дом? — едва слышно прозвучал голос третьего, самого рослого.

— Там, во дворе, никто не услышит, и мы можем выставить либо окно, либо дверь.

Три тени перемахнули через двухметровый забор, сотворенный из обожженной глины. Двор был пуст. Двигались на ощупь, опасаясь зажечь факел, прихваченный с собою. Вокруг царила тишина, только один из солдат произнес несколько бранных слов, едва не оступившись в пруд.

Двери дома были заперты, а до окон не надо было тянуться: они располагались низко. Когда здоровяк сунул в щель кинжал и надавил, раздался треск сухого дерева.

— Тише, — цыкнул тот, что со шрамом.

Троица затаилась, прислушиваясь к посторонним звукам, боясь привлечь к себе внимание либо своего патруля, либо местных полицейских надзирателей.

Спустя четверть часа солдаты влезли в выставленное окно и, оказавшись внутри, зажгли факел, который вспыхнул ярким, с шипением огнем. В стороны полетели искры.

Солдат со шрамом присвистнул, разглядев окружающее богатство. Рожденный на севере Франции и насильно забранный в армейские ряды, он ничего в жизни не видел, кроме коровника хозяина, в котором ему пришлось жить, а здесь... Его глаза разгорелись, и он приготовил припасенный заранее мешок.

Проникшие в дом считали, что им полагаются трофеи помимо того денежного содержания, что они получали. Хотелось приехать домой не с пустыми руками, а самому завести хозяйство — чтобы уже на тебя работали наемные.

Серебряные и другие ценные вещи скрывались в мешках. Теперь солдаты не боялись, что со стороны улицы будет замечен мерцающий в глубине дома свет. Более получаса они шныряли по дому, пока в одной комнате не были всерьез напуганы. В черном проеме внезапно показалась фигура в белом до пят облачении, с космой седых волос вокруг худого старческого лица.



Тот, со шрамом, первым очнулся от оцепенения. Не помня себя от страха, он выхватил из ножен длинный кинжал, с разбегу вонзил его в грудь призрака и отступил на шаг назад. Фигура пошатнулась, блеснула белками глаз и повалилась на руки солдата.

Призрак оказался древней старухой. Она прошептала несколько слов на местном наречии, неестественно изогнулась и обмякла.

Верзила взял товарища за плечо, тот от неожиданности вздрогнул.

— Назад пути нет, — прошипел верзила. — Надо проверить дом, нам свидетели ни к чему.

Солдат со шрамом пришел в себя, опустил на колени подле тела и с усилием выдернул из груди убитой кинжал, вытерев его о ее же платье.

— Она здесь может быть не одна!

В соседней комнате был обнаружен старик, притихший в темном углу, который скрестил худосочные руки на впалой груди. Верзила зажал его рот своей большой рукой и провел лезвием по шее. Брызнула струя черной в свете факела и пряной на запах крови. Старик мешком повалился на пол.

В дальнем конце дома пряталась молодая женщина с двумя маленькими девочками, которых она прижимала к груди. Детей зарезали сразу, они и пикнуть не успели, а над женщиной покуражились. Она не кричала, только кусала до крови губы.

Когда уходили, солдат со шрамом обернулся, напоследок осветив комнату. Обнаженное тело блеснуло бледностью, широко раскрытыми глазами и черной полосой поперек горла, из которого еще толчками вытекало вместе с жизнью кровь.

Уходили довольные вылазкой, с трудом несли мешки с награбленным скарбом. И самое приятное, что не попались на глаза ни патрулю, ни туземным полицейским. Теперь надо было еще придумать, как вещи продать: не будешь же таскаться с мешками в походе — сразу привлечешь внимание к своей персоне.

Пробрались в расположение, но дежурный все же заметил и факт отлучки, и следы крови на одежде солдат, и тяжелые мешки. Ничего не сказал, улыбнулся и жестом показал: так и надо!

Утром по городу поползли слухи о злодейском убийстве в доме шейха. Последний в это время находился в ал-Азбакийе около Баб ал-Хава, скрываясь от французских властей. Никто не стал заниматься происшествием. Местные полицейские надзиратели были заняты своим. Требовали ежевечерне, чтобы жители возле домов выставляли масляные лампы для освещения улиц, а если у кого гасли — на них налагали большой штраф, а когда те не могли заплатить — забирали в тюрьму, где подвергали наказаниям. Потом полицейские стали сами тушить лампы, чтобы больше денег насыпать в бездонные кошельки, так что к ним обращаться было без толку. Им было не до какого-то там убийства стариков в доме противника властей.

Через три дня в город прибыл верховный главнокомандующий генерал Бонапарт, который много ездил по освобожденной стране. Сегодня



его видели в Александрии, завтра в Каире, потом в Бильбейсе — везде он успевал: и принять участие в боях, и уладить волнения взявшихся за оружие. Теперь к нему пришла делегация местных жителей с жалобой на полицейских и солдат, которых все-таки видели у дома, где были обнаружены тела убитых. Генерал разозлился не на шутку и приказал разыскать мародеров во что бы то ни стало. Ведь этот случай бросал грязное пятно на его победоносную армию, пришедшую освободить Египет от ига жестокосердных мамлюков и восстановить законную власть османского султана Селима III.

Искать долго не пришлось. Дежурный в ту ночь пришел к ротному командиру и рассказал об отлучке трех солдат и что они возвратились с тяжелыми мешками, набитыми, по всей видимости, ворованным. А были ли они в доме, где произошли убийства, он утверждать не может, хотя пятна на одежде и руках подозрительно напоминали запекшуюся кровь.

В тот же час названная троица была приведена в штаб, обыскана, в их личных мешках найдены вещи, опознанные соседями шейха. Солдат доставили в тюрьму — ожидать приговора за мародерство и убийство местных жителей.

Через час после ареста генерал Бонапарт подписал приказ о расстреле и в назидание остальным распорядился произвести казнь публично в полдень следующего дня. По городу было объявлено о расстреле французских солдат. Египтянам не верилось, что приговор будет приведен в исполнение.

Месяц шабан 1213 года начался во вторник (8 января 1799 года).

В первый день месяца, ближе к полудню, народ начал собираться у крепостной стены. Тихо переговариваясь, люди угрюмо взирали на серые камни, ожидая развития событий. Без четверти двенадцать ворота со скрипом распахнулись и в них показался офицер со шпагой в руке. За ним следовал десяток солдат; внутри каре в серых, навывпуск рубашках, со связанными за спиною руками шли маленькими шагами трое мужчин, ноги которых были скованы единой цепью.

Самый высокий из них затравленно глядел на собравшуюся на площади толпу, все еще не веря, что его могут расстрелять за столь незначительный поступок, как убийство местных. Ведь их столько было убито его рукой, что и не перечесть.

Приговоренных поставили у стены, завязав глаза черными повязками. Напротив выстроились солдаты, что конвоировали преступников к месту казни. На сооруженный утром помост поднялся сам комендант Каира генерал Дюга, вслед за ним адъютант и переводчик.

Комендант протянул руку назад, и в нее был вложен лист плотной бумаги.

— От друга мусульман верховного главнокомандующего французской армией Бонапарта, — начал чтение генерал Дюга, держа на вытянутых руках лист серой бумаги. — Мы, французская армия, пришли на египетские земли не с целью завоевания, а с целью освобождения



от мамлюков, узурпировавших власть. Мы испытываем к народу Египта чувство уважения, поэтому не позволим кому бы то ни было чинить препятствия нашей дружбе, — звучал над притихшей площадью хорошо поставленный голос. — Приказываю: расстрелять нарушивших кодекс воинской чести солдат седьмой роты... — Последние слова прозвучали заключительным аккордом.

Переводчик начал речь сразу же, как умолк комендант:

— Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Хвала Ему, Владыке Вселенной, который свершает во владениях своих все, что пожелает! Хвала Ему, творящему справедливый суд и властному сурово наказывать! — И дальше последовал дословный перевод приказа.

Народ загудел, так и не поверив, что вражеские солдаты сейчас расстреляют своих.

— Товьсь! — Офицер поднял шпагу, и десять солдат, выставив левую ногу вперед, взяли ружья наизготовку.

Здоровяк рухнул на колени, наконец осознав, что его дни подошли к завершению. К нему подскочили двое и резко вздернули кверху. Он остался стоять на дрожащих ногах.

— Пли!

Офицер с силой опустил шпагу, и голоса толпы перекрыл грохот десяти выстрелов, слившихся в единый раскатный звук. Солдат окутало белое пороховое облако. Казненные рухнули одновременно.

Местные жители расходились в молчании.

Дорожное приключение

Западные губернии Российской империи, 1811 год

Трактир в Шавлях представлял собой помещение, выдраенное на совесть. Он походил на начищенную до блеска медную монету. Я даже залюбовался им. Несмотря на поздний час, здесь было светло: хозяин не жалел для гостей свечей. За столом у стены сидел капитан, как я видел по знакам на эполетах, 2-го гусарского полка Герцогства Варшавского.

Я намеревался присесть за отдельный стол, но капитан поднялся и громко произнес:

— Не составите мне компанию? — И указал рукою на стул напротив.

Честно говоря, после долгой дороги я был рад поговорить за чашей вина.

— Фаддей Венедиктович Булгарин, — представился я.

— Граф Осецкий. — Он приложил руку к груди. — Присаживайтесь. Куда путь держите?

— В Петербург.

— Славенько! А я вот в Ковно* по делам службы. Завидую вам: давно я в столице не был.

* Ныне Каунас.



Капитан был немногим старше меня и к тому же оказался так словоохотлив, что мне невозможно было слово вставить. Впрочем, за время пути я так устал, что улыбался скорее из вежливости, чем по охоте, и говорил иногда словечко, только чтобы не сойти за угрюмого человека. Вино подали довольно приличное, на мой вкус, а просидели мы до полуночи, когда капитан заметил, что, несмотря на улыбку, мой взор осоловел и я начинаю клевать носом.

— Дорогой Фаддей, а поехали-ка вместе? У меня бричка, вдвоем веселее, нежели одному!

— Благодарю за предложение, господин капитан, но...

— Никаких но, Фаддей, никаких возражений!

Я не сильно упорствовал, ведь лишних денег у меня не было, а так часть пути можно проехать в бричке капитана. И я принял это довольно соблазнительное предложение с большим удовольствием.

Утром мы сидели напротив друг друга и беседовали об амбициозных устремлениях французского императора.

— Помяните мое слово, — рассуждал капитан, — этот корсиканский выскочка не остановится. Он придет сюда показать свою силу — и вот тут-то по носу и получит.

— Вы думаете?

— Да я уверен, мой друг! — И он ударил по моему колену. — «И пули шальные спюют свою песнь» — так, кажется, сказал кто-то из стихотворцев?

— Может быть, но я сомневаюсь, чтобы у Наполеона хватило смелости прийти с оружием в наши края, — высказался я.

— Вы ошибаетесь. После Аустерлица и Фридланда он считает себя военным гением, равным Александру Македонскому.

Ближе к двум часам пополудни мы остановились в одном маленьком городишке, населенном жидами. Там был постоялый двор, где в ожидании обеда можно было поиграть в бильярд.

Пока мы играли, в зале несколько раз появлялась молодая красивая жидовка лет двадцати двух — двадцати трех. Капитан засмотрелся на нее и даже попал кием мимо шара.

— Господин капитан, вы бы шею не сломали, — шепнул я ему тихонько.

— Хороша, — причмокнул граф, и в глазах его я увидел озорные огоньки.

Уже тогда я подумал, что истории или скандала не избежать, слишком уж гусары охочи до таковых.

К нам подошел парнишка — еще не юноша, но уже и не ребенок — лет тринадцати. Спустя некоторое время он принес обед, состоящий из горячей пулярки, свежее испеченного хлеба, сыра и, конечно же, вина. Капитан разлил из стеклянного графина вино по стаканам.

— Смачного! — пожелал он мне и выпил большими глотками содержимое стакана. — Недурно. Я удивлен отменным качеством. Эй, мальчик! — Он поднял руку и подозвал мальчишку, обслуживающего нас.



— Господа еще чего-нибудь желают? — подошел тот к нашему столу.

— Скажи-ка, любезный, а кто сия молодая особа? — Он кивнул в сторону жидовки, при этом наливая в стакан новую порцию вина.

Малый смутился, покраснел и произнес:

— Это Рифка. Моя жена.

Капитан поперхнулся и внимательно посмотрел на жиденка.

— Ступай. Когда надо, я тебя позову.

Известно, что у жидов не соблюдается в браках никакой соразмерности в годах относительно к мужескому полу и что двадцатилетних девушек выдают замуж за двенадцати- или тринадцатилетних мальчиков по фамильным или денежным расчетам.

— Любезный Фаддей, — граф хитро мне подмигнул, — а нет ли у вас желания задержаться в сем славном городке на пару дней?

Я выразил мнение, что коли меня в столице никто не ждет и дел никаких срочных нет, то я не прочь. А сам подумал: раз капитан платит, то почему бы и нет?

Часом позже я видел, как граф сумел переговорить с Рифкой. Она зарделась от его слов, потупила взор, но я не обратил на этот факт особого внимания.

На другой день я имел намерение посетить католический монастырь, расположенный в нескольких верстах от местечка. Капитан любезно мне предоставил бричку, а сам остался на постоялом дворе.

В монастыре я не сумел поговорить с настоятелем, зато удостоился беседы с одним ученым монахом, который показал мне не только сам монастырь, но и самое дорогое — библиотеку, собираемую с XII века.

— Лет двести тому, — сообщил монах, — наш монастырь едва не стал прибежищем еретиков-протестантов, которых приютил князь Радзивилл.

Я знал об этом, читал в какой-то книге (уж сейчас за давностью лет не вспомнить), однако послушать человека, который спустя столько времени выказывает обиду, было крайне любопытно.

— Когда английский король Яков I удалил из королевства слишком ретивых приверженцев веры, то они разъехались по всей Европе, в основном осели в германских землях, Польше и Литве. Богуслав Радзивилл, сам являясь ярым кальвинистом, распорядился передать монастырь в руки еретиков, но аббат Иосиф воспротивился. За что безвинно пострадал. Наши монахи в течение недели никого не подпускали к воротам, и князь Радзивилл отступил, чтобы не обагрять руки кровью истинно верующих.

Я с особым вниманием слушал монаха, ибо в ту пору писал книгу о водворении лютеранизма в Польше. Потом сам прошелся по монастырю, прикоснулся руками к камням, хранившим столько неизвестных тайн, так что мне даже показалось: выйду за ворота — а там гарцует на белом коне князь Радзивилл, метая огненные взоры!

Когда я вернулся, а было около семи часов пополудни, то застал капитана в большом волнении.



— Фаддей, я прошу вас об одолжении, — начал тихим голосом граф, приблизив губы к моему уху. — Срочно езжайте до следующей станции и остановитесь там, ждите меня.

Я попытался выразить свое недоумение.

— Прошу вас, не задавайте ныне вопросов, я отвечу вам потом на все. — Он протянул мне несколько золотых червонцев.

Я хотел было возмутиться, но был остановлен властным взглядом. Пришлось подчиниться.

На следующей станции ужинал в одиночестве в маленькой комнатке, которую мне отвели для ночлега. Дубовый стол, скрипящий стул и постель, застланная цветным одеялом.

Я был уверен, что капитан ввязался в какую-то историю, и, предчувствуя, что придется на ночь глядя куда-то ехать, не стал снимать платья, а лег поверх одеяла и тотчас же уснул.

На улице было темно, когда слуга капитана тронул меня за плечо. Я мгновенно проснулся. Слуга держал в руке свечу. Тихим голосом он произнес:

— Барин, вас его сиятельство кличут и ждут в экипаже.

Я молча указал слуге на мой багаж, а сам проследовал к бричке, которая была наглухо закрыта, словно на улице не лето, а осень с сильным дождем. Заглянув внутрь, я отступил с удивлением, хотя, честно говоря, нечто подобное представлялось в моем воображении. Рядом с графом сидела Рифка, жена того малолетнего хозяина постоянного двора. Она, как и капитан, была весела и закрыла при моем появлении лицо платком.

— Граф, вы подумали о последствиях? — сказал я по-французски, надеясь, что прелестная жидовка не знает языка.

— Садитесь, Фаддей, садитесь. — Капитан смотрел не на меня, а на Рифку. — Меня снедает страсть, и я не в силах ее сдерживать.

Я покачал головой и присел на скамью напротив.

— Граф, только не говорите, что я вас не предупредил.

— К черту, — отмахнулся он. — Гусар я или щенок, держащийся за юбку прелестной особы и не знающий, что женщина создана для того, чтобы отдать дар любви настоящему мужчине?

Он скомандовал кучеру, и бричка тронулась.

— И что дальше?

— Десяток верст — и мы за границей.

— Но что будет с несчастной далее?

— Какое тут несчастье? Ведь я не насильно взял ее, а добровольно, и хорошенькая бабенка нигде не пропадет, а мне — приятное дорожное приключение.

— Ваше право, граф.

До рассвета возница гнал лошадей во весь опор: наверное, так распорядился граф. Несколько раз приходилось останавливаться и смазывать оси, которые начинали дымиться. Только в девятом часу мы остановились на станции. Захотелось подкрепиться и размять ноги от долгого сидения.



Когда мы вошли, нас встретил небольшого роста человек, содержатель станции:

— Прошу, господа.

Увидев Рифку, что-то громко произнес на своем языке: он оказался жидом. На его крик выскочили несколько женщин и подняли гвалт, точно прилетевшие на гнездовье вороны.

Рифка прошла к столу, с гордым видом села и сказала на нашем языке, чтобы мы услышали ее ответ:

— Прошу не кричать, а принести кушаний и вина, ибо я уже не иудейка, а христианка. А если они продолжат крики, то я призову вас к ответу за оскорбление. — И добавила что-то по-своему, так что их словно ветром сдуло.

На столе буквально через несколько минут появилось мясо, хлеб, овощи и вино. Рифка не разбирала, кошерная пища или нет, а ела наравне с нами и со смехом пила вино.

— Ваше сиятельство, — подошел слуга капитана, — бричка требует починки.

— Сколько?

— Я не знаю, — развел тот руками.

— Пока мы утоляем голод, бричка должна быть починена.

Слуга что-то хотел сказать, однако взгляд, брошенный на него графом, остудил молодца, и он не ушел, а скорее убежал.

Часа через два с улицы послышался шум, подъехало несколько подвод. Кольнуло нехорошее предчувствие, я извинился и встал из-за стола. Меня прошиб холодный пот.

Я не стал кричать, а жестом подозвал капитана к окну. На его лице еще играла улыбка от беседы с очаровательной Рифкой. Должен признать, что ради такой женщины стоит потерять голову. Я указал на улицу. Перед станцией стояли запряженные подводы, и с них слезали человек двадцать жидов с хмурыми лицами. Они не посмели войти вовнутрь станции, но остановились у входа, явно ожидая нас. Мне не слишком нравилась перспектива попасть к ним в руки.

Граф оставил меня с Рифкой в комнате, а сам скрылся. Мне показалось, что он сбежал, но капитан вернулся с двумя саблями — для себя и меня — и парой отменных пистолетов. Он хотел выйти на крыльцо.

— Граф, не делайте опрометчивых шагов: их слишком много.

— Да, вы правы. — С этими словами он закрыл входную дверь на засов.

Снаружи слышался гул голосов, кто-то кричал, что надо силой «эту тварь» вырвать из наших рук. С лица Рифки не сходила улыбка, только бледность и прищуренные глаза выдавали ее истинное состояние.

Вдруг среди шума раздался ее голос:

— Пусть я умру — ни за что не вернусь назад!

— Я не позволю этим скотам ничего с тобой сделать, — успокоил ее граф.

Раздался стук в дверь, вероятно, тарабанили ногами.



— Господин капитан, отдай нам Рифку, на что она тебе надо? — кричал кто-то сипло. — Мы все равно возьмем ее — не миром, так силой.

Стук стал сильнее, но дверь была крепка.

— Если вы продолжите выбивать дверь, — закричал капитан, сдернув занавеску с окна, — я пушу пулю первому, кто попытается ворваться. Этому хорошо обучен.

— Отдай нам девку!

— Отдай!

— Она наших кровей.

Крики постепенно стихли. Хорошо, что у брички остался слуга: я видел, что он держит в руках штуцер и не подпускает никого. Жиды хотели склонить ямщиков других бричек и тарантасов деньгами на свою сторону, но не преуспели в этом. Ненависть к ним в литовском крестьянине сильнее всех других страстей. Напротив, ямщики даже объявили, что не позволят обижать панов. Ямщики пришли на помощь слуге.

Толпа отступила к подводам, и только один из жидов подошел к двери для ведения переговоров.

— Господин капитан, — крикнул он, — мало того что Рифка — гулящая девка, так она и воровка!

Граф обернулся к женщине.

— Врет, — сказала она, словно отмахнулась от мухи.

— Что ты там гавкаешь? — Капитан вновь посмотрел в окно.

— Она, ваше сиятельство, украла все драгоценности и деньги у мужа.

— Ложь. — Рифка тронула на шее жемчужное ожерелье: — Это мое, а денег я в помине не видела, они всегда прятали от меня.

— Так. — Капитан отпер дверь и вышел на крыльцо, поигрывая в руках пистолетами. — Если вы не уберетесь — перестреляю, как курят. Мне надоели ваши бредни. — Он сделал нам знак следовать за ним. — А теперь прочь с дороги!

Жиды ретировались за подводы, громко ругаясь на своем языке, а мы прошли к бричке. Перед тем как сесть, Рифка обернулась и что-то крикнула этой толпе. Они было загудели и разом смолкли.

Мы поехали. В полуверсте от нас вился пыльный след: преследователи не отставали, но и не смели приблизиться. На станции они больше не въезжали, а при нашем выезде приближались и так сопровождали нас. Я с тревогой думал о последствиях неразумного поступка капитана, однако не мог его оставить в одиночестве в столь трудный час.

Мы прибыли в Ковно ночью. На заставе нас поджидали заседатель нижнего земского суда и офицер городской полиции с толпой понятых и полицейских служителей. Оказывается, вперед посланные жиды успели подать жалобу и исходатайствовать покровительство властей.

— Господа! — заявил заседатель. — При сложившихся обстоятельствах я вынужден препроводить вас на почтовую станцию и не выпустить из города, пока капитан-исправник не разрешит дела по жалобе. А вам, — он обратился к полицейскому офицеру, — приказано караулить.



— Так точно, — ответил офицер.

Поутру к нам явилась целая делегация: городничий, капитан-исправник, отец Рифки и раввин. Городничий, высокий человек со шрамом на всю щеку, присел на стул, придерживая рукой саблю, и строго спросил:

— Господин капитан, что вы можете сказать по существу дела?

— Разрешите мне, господин городничий? — первым выступил я.

— Да, я слушаю.

Капитан стоял у стены; за его спиной, прикрывши лицо платком, стояла Рифка.

— Господа, я, Фаддей Венедиктович Булгарин, по своей подорожной следую в Петербург и вовсе не причастен к похищению красавицы, так что прошу меня избавить от разбирательства.

Капитан засопел, явно не ожидая от меня такого подвоха, процедил сквозь зубы:

— Я подтверждаю, что господин Булгарин был только попутчиком в дороге.

— Это так, — подал голос и отец Рифки, до той минуты молчавший.

— Если это подтверждают свидетели, — городничий поднял укоризненный взор, — то вы можете быть свободны... Теперь вернемся к делу, — услышал я последнее, когда выходил из комнаты.

Прошел на улице сквозь толпу жидов, стоящих у ворот станции. При моем приближении они расступились, и я быстрым шагом направился к единственному человеку, которого знал в Ковно, земскому судье Хлопницкому.

— Доложи, — сказал я слуге, — что Фаддей Булгарин просит принять по срочному делу.

Спустя некоторое время меня провели к судье.

— Фаддей! — Хлопницкий поднялся с кресла и обнял меня. — Что ж ваш батюшка не сообщил заранее о вашем приезде?

— Простите, но я не намеревался следовать через Ковно. Волею случая я здесь оказался. — И рассказал старому судье о встрече с графом, предложении составить ему компанию, о похищении девки и обстоятельствах, приведших к задержанию капитана гусарского полка.

Хлопницкий внимательно выслушал и несколько минут молчал.

— Я охотно помогу офицеру, — лукаво улыбнулся. — О, какие приключения бывали в наше время!

Увидев мой удивленный взгляд, он оборвал свою речь, но я понял, что судья в пору молодости совершал нечто подобное и поэтому не преминет помочь несчастному графу.

Когда мы вернулись на станцию и вошли в комнату, по всему было видно, что городничий намеревается решить дело миром. И тут Рифка заявила, что ни за что не вернется домой.

— Мы обещаем дать подписку от ее мужа, — говорил раввин, — что ей не будет никакого наказания за побег.

— Ну, если так... — Капитан явно шел на попятную.

— Нет! — закричала еще громче Рифка, и каким образом в ее руках очутился кинжал, я не успел понять, но она приставила его к горлу. — Я лучше умру, чем возвращусь. Я хочу быть христианкой.

— Вот видите, — городничий обратился к раввину, — я не могу препятствовать принять истинную веру заблудшей душе.

— Это в ней говорит заблуждение и похоть, — начал было раввин, однако его перебил земской судья:

— Господа, я предлагаю решить это дело следующим образом. — Хлопницкий обвел внимательным взглядом присутствующих. — Раз уж дело приобретает такой оборот, то я готов самолично свезти красавицу в женский монастырь, что находится неподалеку. Вам, господин капитан, немедленно покинуть пределы государства, в противном случае вы подвергнетесь суровому наказанию, и вам должно выплатить мужу Рифки сумму, о которой вы решите с ним.

— Разумно, — потирал руки городничий, чувствуя, что с его плеч сваливается целая гора забот.

— Как же так?.. — растерялся раввин.

Граф перешептывался с Рифкой, вероятно, обещая приехать за ней, после чего она объявила:

— Я согласна.

— А я готов оговорить сумму, — добавил граф.

Раввин насупился и тяжело дышал. Отец Рифки скрежетал зубами, тем не менее ничего поделать не мог.

Когда мы спустились по лестнице, капитан сказал:

— Благодарю вас, Фаддей, вначале мне почудилось, что вы бросили меня в одиночестве, но сейчас вижу: вы настоящий друг. Поэтому при любом удобном случае я постараюсь отплатить добром за добро.

На прощание он пожал мне руку, на глазах его блеснули слезы. Между тем запрягли лошадей, и польский офицер немедленно уехал в сопровождении заседателя, следовавшего за ним в почтовой тележке.

Покушение

Париж, май 1867 года

Мое имя, по-видимому, вам неизвестно, но, как человек, лелеющий в душе тщеславные чувства, я тешу себя надеждою, что все же оставил маленький след на громадном дереве истории.

Итак, меня зовут Антон Березовский, в десятом поколении я поляк, чего не скрываю, а горжусь. Увы, мое отечество Речь Посполитая давно томится под игом российского императора, приобретя русское название — Царство Польское. После бесплодных попыток моих дедов, отцов завоевать свободу с помощью оружия наступил и мой черед. Но после тяжелых боев, в которых рекой лилась кровь моих товарищей по борьбе, я был вынужден покинуть многострадальную родину, ибо каждая полицейская курва могла меня схватить — и тогда мне не избежать не только



сибирских рудников, но, может быть, и пеньковой веревки. Я поселился во Франции и затерялся среди студентов парижской Сорбонны.

От роду мне двадцать лет, вот уже два года я нахожусь на чужбине, а моя родная Вольнь стонет под гнетом иноземных штыков. Когда я узнал, что император Александр прибывает в Париж, поначалу я был расстроен. Вот тот человек, который стоит во главе государства, что вводит свои порядки на моей земле, что силой принуждает в школах изучать его язык, запрещает выпуск стихотворных воззваний Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого, Зыгмунта Красиньского. Он приезжает в Париж по приглашению Наполеона. А потом пришла другая мысль, которая прямо поразила мой разум и захватила в тиски своей простотой: это знамение свыше, Господь обратил взор на недостойного.

Из газет я узнал, что два императора — французский и российский — будут принимать 25 мая парад, устроенный в честь прибытия высокого гостя, у Булонского парка. Меня это чрезвычайно обрадовало, ибо давало большой шанс на претворение в жизнь задуманного. Значит, думал я, они будут возвращаться через парк, там соберется толпа для приветствия и можно будет затеряться среди народа. А еще я прочел, что 23 числа мая месяца два вельможных пана посетят театр в Пале-Рояле.

Для осуществления моего плана я нуждался в презренном металле, а у меня не было ни сантима. Я метался по друзьям, но тщетно: они тоже сидели без гроша. Требовалось целых девять франков. О Боже, может, это Ты посылаешь мне испытание, которое я должен с честью пройти?

С горящим от стыда лицом отправился в комитет, занимающийся такими, как я, бежавшими с родины. Там пояснили, что сумма, полагающаяся мне (согласно французским законам, около сотни франков), может быть выдана не ранее следующей недели. Да и то при благоприятном исходе встречи с начальником комитета. Я был не просто расстроен — я был убит этим выстрелом в спину.

«Что же делать? Что же делать?» — вертелось в моей голове, точно бобер вгрызлся в ствол дерева острыми, как бритва, зубами.

Двадцать третьего мая я был у театра и видел, как по ступеням спускался Александр — высокий, стройный, с военной выправкой. Мундир сидел на нем, словно он в нем и родился. Бакенбарды переходили в пышные усы, которые он иногда поглаживал. Мне казалось ранее, что русский император — варвар, а увидел умные добрые глаза, с живостью смотревшие на народ, который в волнении и восторге восклицал: «Да здравствуют императоры! Да здравствует император Наполеон! Да здравствует император Александр!»

Я бежал рядом с каретою и кричал здравицу, ловя взгляд царя. И он посмотрел-таки мне в глаза — не знаю, что он смог в них прочесть, но явно не озлобление и не ожесточение. Было стыдно до глубины души, однако ничего поделать с собою не мог. Меня охватил восторг толпы, я был раздавлен ее всепроникающей любовью к монаршим особам.

Только дома, пряча зардевшееся лицо в руках, я осознал, что попал под чары этого человека — не всероссийского самодержца, топчущего

коваными сапогами мою многострадальную родину, а именно человека, который улыбался мне и моим неистовым крикам в состоянии эйфории: «Да здравствует Его Величество император Александр!» Что же со мною происходит? Ненавижу деспота — и кричу ему здравицу, готовлю злодеяние супротив него — и желаю счастливых дней.

Назавтра я снес единственное пальто в скупку, ибо понял, что оно мне больше не понадобится, но, к сожалению, за него дали всего восемь франков. Для моей покупки не хватало лишь одной монетки с маленькой цифрой. Одно-единственного маленького франка!

Я шел по многолюдным улицам Парижа, но было чувство, что иду по бескрайней пустыне. Меня задевали локтями, толкали, не обращали на меня внимания, так же как и я — на идущих навстречу или обгоняющих мое брненное тело. Потом что-то щелкнуло в голове и я начал присматриваться к прохожим. Мне казалось, что я вижу их кошельки и содержимое карманов.

Наконец я решился и толкнул толстого господина — рука, противясь моей воле, скользнула в карман, нащупала какую-то бумагу. И в тот же миг я, как заяц, за которым идет охота, побежал по улице. Уж не помню ее названия, помню, что прекратил бег где-то на Елисейских Полях. Тогда пришла в голову мысль, какое кощунство иметь на грешной земле проспект с таким названием. Я взглянул на бумажку, зажатую в скрюченных пальцах: это была банкнота в пятьдесят франков.

Поутру я встал рано. Надо было, во-первых, посетить лавку, где меня ждало оружие.

— Вот, молодой человек, то, что вы изволили заказать.

Улыбающийся хозяин лавки положил передо мною пистолет и порох.

— Я же просил двуствольный!

Я в раздражении отодвинул оружие.

— О! Прошу прощения.

Он продолжал улыбаться, словно по ошибке выложил приготовленное другому покупателю, и движением фокусника извлек из-под прилавка двуствольный пистолет.

Я протянул ему деньги. Он расплылся в еще большей улыбке, и мне показалось, что сам нечистый пытается отвлечь меня от богоугодного дела. Затем хозяин лавки придвинул ко мне и металлический футляр с порохом и пулями.

Тяжесть металла, оттягивающего карман, придавала уверенность и веру в счастливый исход предприятия. Все свершится завтра! Я не надеялся на купленные пули, а начал отливать их сам, чтобы они были тяжелее и пробили стенку кареты наверняка.

Сегодняшний день — последний перед свершением моего Божественного предначертания. Весь вечер я провалялся в постели, смотря в потолок и отмечая, как темнеет на улице и комната медленно погружается во мрак.

Еще оставались деньги, и я решил подкрепиться завтраком, чтобы силы не покинули меня в ответственную минуту, но кусок хлеба застревал



в горле. Потом я пошел через парк по аллее Императрицы мимо водопада, надеясь застать императора Александра по пути на парад. Увы, моим мечтам не суждено было воплотиться в жизнь, поэтому я провел время, издали наблюдая за монаршими персонами. В душе было беспокойно, какая-то непонятная тяжесть давила на сознание. Казалось, еще немного — и тело лишится чувств, однако я переборол свое состояние. Наступило облегчение, силы наполнили меня.

Я с удовольствием смотрел, как в торжественном марше стройными рядами плечо к плечу шли высокие солдаты. За ними — конные эскадроны. Не знаю, зачем было устраивать эту клоунаду. Эдакое бахвальство императоров, показывающих живые игрушки.

Наконец парад окончен. Если кареты поедут через Булонский парк, то я буду стоять около развилки у озера в ожидании недруга моего народа. Скорым шагом я направился туда — едва успел, несмотря на то что императоры и свита двигались крайне медленно.

Левая аллея была заполнена людьми, с восторгом приветствовавшими обоих императоров. Ведь не каждый день потомок того непобедимого Наполеона, как бледная тень напоминавший великого предка, встречается с потомком того Александра, чьи войска прошли маршем по Елисейским Полям к Триумфальной арке, построенной в честь победы под Аустерлицем. Народ ликовал и радовался союзу двух империй.

Я быстро устремился к карете, но не смог достичь цели. Мне было не пройти сквозь толпу, бросившую в воздух шляпы, кепки. Заметив, что карета свернула вправо, где ее пути ничего не мешало, я двинулся вокруг водяного каскада и опередил процессию, хотя бежал сквозь кустарник. Слава Всевышнему, что мой растрепанный вид не привлек ничьего внимания. Все мое существо содрогалось в предчувствии грядущего события.

Император Александр сидел у окна. Его взор был устремлен на кого-то, сидящего перед ним, губы шевелились, он вел светскую беседу. Меня настолько это поразило — что вот он не видит и не догадывается об опасности, исходящей от меня.

Я вскинул руку, в которой держал пистолет, и он показался пушинкой. Прозвучал выстрел, облако сгоревшего пороха охватило меня. В последний миг я заметил, что монарх повернул голову и посмотрел на меня, — и пуля пролетела рядом, опалив, наверное, бакенбарды. В его взгляде было не удивление от случившегося, а непостижимая для моего разума усталость.

Я нажал на курок второй раз — ствол разорвало и огнем опалило мое лицо. Боль пронзила руку. Со всех сторон бежали люди, размахивая тростями, зонтиками и неведь откуда взявшимися палками. Град ударов обрушился на меня, но чувства до того притупились, что безразличие к собственной судьбе охватило меня. Я потерял сознание.

Когда сквозь кровавую пелену, застилавшую глаза, я начал понимать, где нахожусь, первое, что потрясло, — это возвышающийся император Александр. Он пристально смотрел в мое лицо и, увидев, что я открыл глаза, произнес сперва на русском языке, потом на французском:



— Несите его в карету и найдите для несчастного врача.
 Наполеон пытался возразить, но русский монарх был настойчив:
 — Я хочу знать, почему этот человек хотел меня убить.
 Голос не повиновался мне, и я не смог ответить государю.

Святость

Тобольская губерния, село Покровское, 80-е годы XIX века

Я давно подозревал соседского Гришку в воровстве, может быть, от этого-то и поднялся затемно. Толкнуло меня незримым локтем в бок. Не иначе Николай Чудотворец! Потом на ухо мне нашептал о паскудстве соседском. Ну, я сразу, не теряя времени, на поляну, где у меня остожье* для сена приготовлено.

Смотрю, а там уже Гришка стоит, рукой подбоченясь, да не один, а с ним то ли Сашка, то ли Мишка — уж и не помню, из соседней деревни не всех молодых знаю — так шустро топором орудует. Порубленное остожье у них в телеге сложено, задержись я чуток — так никогда бы не поймал воров-то, а тут они вона, только руку протяни да за загривок обоих.

— Что же вы, ироды, делаете? — говорю, а у самого внутри кипит, словно ведерный самовар.

Они так и присели от неожиданности. Огляделись и видят, что я один. Второй — Сашка-Мишка — посмелее стал, топором в руках играет.

— Что ты, дядя Ваньша, нас пугаешь? — говорит после недолгого молчания Гришка. — Мы тута делом заняты, а ты...

— Выгружайте назад, изверги. — И к телеге подхожу, у самого голос от обиды дрожит.

— Зачем это? — с подозрением озирается по сторонам Сашка-Мишка, подумал, небось, что я все-таки не один.

— Не твое — не замай. — И рукой по остожью так легонько хлопываю.

— А ты, дядя, не боишься? — И топор перебрасывает в правую руку.

— Не балуй! Ишь чего удумал!

Мне стало не до шуток. Если дело принимает такой оборот, то стоит их в волость доставить, пусть с ними власти разбираются. Хватит выходы их терпеть.

— Мы тут одни. — Сашкин-Мишкин тихий голос прозвучал навряд ли выстрела для меня. — Кто нас искать-то будет? Смекаешь? Разойдемся по-хорошему, а?

— Не, — говорю, а сам глазами зыркаю, чем сподручней от топора отмахнуться, — Гришенька, теперича мы с тобою в волость поедем и приятеля твоего прихватим. Пусть там тебя увещевают, а я устал за руку ловить.

* Остожье — жерди для огораживания стога.



— Я ж тебя предупредил! — И на меня.

Николай Чудотворец и туточки меня не оставил, прямо в руку кол послал. Ну, я им сперва Сашку-Мишку приголубил, а вслед за ним и Гришку. Они только ойкнуть успели — и ничком мне под ноги. Опустился я на колени, перевернул иродов на спину. У самого сердце захолонуло: видать, сильно приложил — юшка что у одного, что у второго из носа и рта потекла ручьем. Неужто, думаю, грех на душу взял? В глазах померкло, точно солнце за землю вновь зашло: не избежать мне острога. «Отче наш» прочитал, смотрю — помогло слово Божье: дышит Гришка да и Сашка-Мишка захрипел. Ну слава богу!

Я сперва веревками, что они подпоясаны были, руки им связал, а уж потом на телегу забросил, как они мое остожье. Только тронул поводья — Гришка замычал, начал в себя приходиться.

— Что, — говорю, — голова болит?

Оглядываюсь, а он уже с телеги сполз и бежать настроился. Меня такая злость взяла. Ничего этого паскудника не берет. Кол вперед сломается, нежели голову ему раскroiшь. Спрыгиваю — и за ним.

— Куда? — хватаю за шиворот.

Он вырваться, но меня силой Господь не обидел, а тут как бес в меня вселился — давай его кулаками охаживать. А он даже не уворачивается, словно заповедь вспомнил: бьют по правой щеке — подставь левую. Зашатался Гришка и прошептал:

— Не надо. Сам пойду, сам.

И улыбка до ушей, и взгляд такой смиренный, немножко глуповатый. Даже страшно стало от его взгляда. Как привязанный он пошел за телегой. А Сашка-Мишка как очнулся — так бранными словами меня поливать.

— Еще, — говорю, — вякнешь — холодным в волюсть доставлю. — И так глянул на него, что он навроде в росте уменьшился и затих, даже дышать тише стал.

Лошадь едва плетется, я ее не подгоняю, чтобы Гришка не отставал, ведь спотыкается на каждом шагу.

— Развяжи, — вдруг слышу, — не сбегу.

— А как приятеля развяжешь?

— Нет, — мотает головой, — сил нету. Знатно ты меня приложил.

Присмотрелся, а он, и действительно, какой-то не такой. Обычно грудь колесом и силы неимоверной: видел я, как на спор он медный пятак шутейно пальцами согнул. Трех парней из соседней деревни так отделал, что они едва уползли, а ведь приходили Гришку наказать. Что-то мне жалко его стало, и я веревку развязал. Он запястья потер, не поднимая головы.

— Пойдем, — говорит, — раз я виновен.

За телегу взялся рукой и идет. Не иначе телок привязанный. Я впереди сижу и все подвоха от Гришки жду, даже голову в плечи втянул, а он идет, только бубнит под нос что-то. Стал я прислушиваться к его бормотанию, чудным оно показалось — словно священник в церкви проповедь читает.

— Кто спастись хочет и ищет Господа не ради какой-нибудь корысти — того искушение приведет не на грех, а на опыт. Нужно только после этого искушения больше с рассуждением действовать, ибо нет на свете милее радости смирения.

Мне уж чудиться стало: не помешался ли Гришенька от моего удара колом, может, смерть его крылом чуток задела и на путь истинный наставила? Голову не поворачиваю, хотя коситься на него не перестаю, а он идет — взгляд в землю, кровь по щекам размазана, рубаха спереди порвана и коричневыми пятнами покрыта. Идет и под нос бормочет. Жалкий такой. Но как вспомнил его дикий взгляд и поднятый топор, так прочь ускакала та жалость. Он же жизни меня лишить мог. Нет, думаю, волостной старшина разберется, он для этого и поставленный над нами.

— Придешь с сокрушенною душою и смиренным сердцем к Тебе, слушаешь простые слова Твои, потому что Ты пришел не с простым духом, а от милости Божией. Ты одно изречешь слово, а передо мною целая картина, вот только бы шел я за Тобой не ради гнусной корысти. Вот тут-то замирают мои уста, ведь Ты — Учитель.

Так это он с самим Христом разговаривает, душу ему изливает! Я перекрестился. Неужто и до Гришки учение достучалось? Ведь его в церкви-то не увидишь — все более по пастбищам, где коней своровать можно. Может, после кола голова на место встала? А может, это он смирение для меня показывает, чтобы я его пожалел? Нет уж, жалелку я дома оставил. А Сашка-Мишка только глазами бльмает и молчит, не шевелится...

— Степан Игнатич, — стучу я в дверь старшины, — Степан Игнатич!

Через минуту на крыльцо выходит волостной.

— Ну чего ты расшумелся? — И волосы на голове поправляет.

— Тут дело такое, — пытаюсь я сказать, но он перебивает.

— Опять Гришка, — кивает на стоящего у телеги, — накуролесил? А это кто там лежит?

— Истинно так, — торопливо начинаю излагать я, чтобы опять не быть перебитым. — Прихожу к себе, а они, — показываю рукой, — мое остожье уже в телегу побросали. А вот тот, что в телеге, на меня с топором. Едва отбился.

— С топором? — Старшина прикрывает рукой рот, чтобы не показать своего зевания. — А ты что скажешь? — обращается к Гришке, однако тот стоит словно в воду опущенный и с Христом разговаривает, будто нас тут нет. — Чего это он?

— Не знаю, — пожимаю плечами. — Всю дорогу то молитву читал, то с Ним, — я указываю в небо, — разговаривал.

— Не помешался? — Брови подскочили у старшины кверху.

— Кто его знает.

— Ты его так приложил?

— Ну я.

А Гришка уже громче бормотать стал:

— Вот силен враг Божий яму человеку копать и добрые дела ни во что не ставить. Обвиняют меня, как нехристя, а я тоже славить хочу и к кресту хотя бы прикоснуться, чтобы и меня благодать задела не жалостью, а любовью. Да любовь, может, и есть жалость. Полюби — и это жалость. А любовь — это такая златница, что ей никто не может цену описать. Она дороже всего созданного Самим Господом, чего бы то ни было на свете, да только мало ее понимают. Кто понимает сию златницу любви, то этот человек такой премудрый, что самого Соломона научит. Все мы беседуем о любви, но только слышали о ней, сами же далеко отстоим от любви.

Степан Игнатич в сторонку меня отзывает:

— Вези их в правление, я сейчас подойду. Под замок их надо, в разные комнаты, чтобы дел каких не натворили или еще хуже — речами своими народ смущать не начали. Не нравится мне это, ой как не нравится. Ступай, Иван, с богом.

...Сход решил не высылать Гришку от нас. Утихомирился он. С приятелями якшаться перестал и замечен в паскудных делах больше не был. Словно и впрямь на путь истинный стал. В церковь ходить начал, святые места посещать, молитвами душу облегчать. Не иначе и его благодать Божия коснулась, указала дорогу десница Господня. А второго (я так и не узнал, как его — Сашка или Мишка) община изгнала, уж больно много делов за ним числилось. Только во второй год смуты на Руси появился он у нас снова — в кожанке и с маузером на боку. Комиссар. Вот тогда я и узнал, что не Сашка, не Мишка, а Павел Иванович Хомяков. Бога молил, чтобы он меня не вспомнил: лют он стал, как настоящий Сатана.

Спустя годы задумался я: уж не с моего ли удара колом святость к Гришке Распутину пришла и к комиссару этому? А ежели бы они тогда верх взяли — топориком меня обтесали? Неисповедимы пути Господни, неисповедимы...



Святослав МИХНЯ

«ИЮЛЯ КРАПИВНОЕ ЖЖЕНЬЕ...»

* * *

Не живу, а украдкой
существую — уже
на остаточном, кратком,
некрутом вираже.
Но дышу и надеюсь —
существую еще,
как впадающий в ересь,
этим миром прельщен.
Что за блажь — быть счастливым?
Как минуешь разлук?
Но живителен ливня
жестяной перестук
по ветшающей крыше,
и от летних щедрот
не иначе как свыше
перепало. Ну вот
и впускай благодарно
зыбко длящийся свет.
Вдруг за ним и подавно
ничего больше нет.

* * *

Июля крапивное жженьё
и овод у медленных вод,
где млечных животных скольженьё
и рыбы неведомый ход.
И тихая буря бурьяна
за избами, смрад земляной.
Воинственный гуд комарья на
болотах и тягостный зной.
Глубинка, истоки... Все просто
и буднично даже вблизи:
чахоточный с виду подросток,
влекущий мопед по грязи.
Вдали подмечаешь под вечер
усталое стадо коров.
Да здесь ты и сам, человеке,
не весел, не бодр, не здоров.
И где же фонарь? Где аптека?
Обширен погост за рекой...
И пыльная скука от века.
И вечный, и вечный покой...

* * *

В небе заиндевелом
солнце плывет наугад.
Церковки белое тело
светится сквозь листопад.
Горнее стало телесным,
в прочную плоть облеклось,
чтобы нам, рея над бездной,
не уповать на авось.
Чтобы нам было не поздно
щедрым дивиться дарам...
В почву вырастает и в воздух
сельский приземистый храм.
Столб у размокшей дороги
туч подпирает навес.
Смысла земного немного
впрямь — без подпорки небес.
Так бы тщетой и скосило,
намертво выжгло бы здесь,
кабы не веянье силы,
нас возвышающей днесь.





* * *

Стихла конечная нота кузнечиков,
оркестровавших прогретый простор.
Лето прошло. И добавить тут нечего.
В озере красочный гасит костер
небо, успев будто вылинять в щелочи.
В мокрый песок лодка въелась кормой.
Сумраком ранним объаты поселочки,
и рыбаки поспешают домой.
Может, и мне впору сматывать удочки
перед лицом наступающей тьмы?
Ветер утюжит волн мелкие складочки.
Нечего ждать здесь, вот разве зимы...

* * *

Памяти протоиерея Алексея Расева

Забудем как-нибудь
суеты давних лет.
И твой недолгий путь
мне — как продленный свет.
Рядки плакучих свеч
чуть источают чад.
И о тебе — вся речь.
И о тебе — молчат.
Уйти, так навсегда,
чтоб для других ожить...
И чуткая вода
в купели задрожит.

* * *

Я живу, не так уж бесшабашен,
в башне — на последнем этаже,
где любовь и с нею юность нашу
сквозняками выдуло уже.
Новая шпана — своя вендетта,
лезвия мелькают возле щек.
Чахнет зелень, но в бетонном гетто
тлеет лето, теплится еще.
А у нас — осенняя ли зрелость?
Все своим, конечно, чередом.



И о том, что в молодости пелось,
вспоминаю сладко и с трудом.
Где она? Разыскивать не станешь.
Навсегда украл незримый тать.
Вроде вот она — рукой достанешь.
Но махнешь рукою — не достать.
По своим судьба творит канонам,
промысла являя торжество.
Сбудется лишь то, что суждено нам,
ничего не будет сверх того.
Это счастье — жили мы на свете.
И живем, как будто вопреки...
Слава богу, подрастают дети.
Да и мы еще не старики.
О прошедшей жизни не вздыхаю,
счастлив продолжением ее.
Были б слезы — сразу б высохали,
как от ветра летнего белье.

* * *

Хорошо бывает жить, скажи...
Благодатна летняя истома.
И обворожительно снежит,
отцветая, яблоня у дома.
Сроки все исполнились, и здесь,
на земле, так радостно мне стало,
хоть в земном и смысла очень мало —
в лете лета, может быть, он весь...

* * *

В размывах северного света
теряется конек избы.
Вот вновь пролистанное лето
в затертой книжечке судьбы.
Средь вод крадется плоскодонка,
веслом надломанный камыш...
И комариным звоном тонко
порвется пасмурная тишь.
Привычно осень осеняет
эти дремотные края,
уже ничем не удивляет,
но все же радует меня.

* * *

Каменистые края
моря. И вдоль пенной кромки —
поезд пыльный, тряский, громкий.
Это молодость моя —
и свежа, и коротка,
как июльское ненастье.
Где-то там мелькнуло счастье,
как короткий взмах платка.
Юг, горячие дожди,
шторм за матовою шторой,
сонно примеряют горы
облачные бигуди.
Неумная волна,
встречный ветер и свобода —
и все это мимоходом,
из вагонного окна...

* * *

Золотясь и стаями соря,
догорят остатки октября.
И напрасно ждешь ты, чтобы жгло
тихое прощальное тепло.
Светлый ветер с неба вдруг донес
музыку, исполненную слез.
Может, это золото в золе —
все, что ты запомнишь на земле.



Владимир ЯРАНЦЕВ

ПЬЕСА ВЛАДИМИРА ЗАЗУБРИНА «ПОДКОП»: ЭПИЛОГ СУДЬБЫ

Эта пьеса Владимира Зазубрина, пролежавшая в московских архивах РГАЛИ ровно 70 лет, наконец-то публикуется в родном журнале писателя. Она не была напечатана ни в «оттепельные» 50-е, когда (в августе 1956 г.) произошла его реабилитация и были переизданы «Два мира», ни в 60-е, когда в том же архиве была обнаружена его повесть «Щепка», ни в 70-е, когда вышел «зазубринский» том в «Литературном наследстве Сибири» (ЛНС) ценой изгнания из «Сибирских огней» основателя и редактора ЛНС Н. Яновского, ни в 80-е, когда было издано, казалось бы, все наследие писателя, включая крамольную «Щепку». Публикация пьесы не состоялась ни в «лихие» 90-е, ни в «тихие» 2000-е, когда все были заняты сохранением текущего литературного процесса. И только сейчас в корпусе текстов В. Зазубрина заполнена, видимо, последняя брешь, закрыто последнее «белое пятно». Но самое главное, восстановлена справедливость. Ибо это последнее произведение расстрелянного в 1937 г. В. Зазубрина считалось самым неудачным. О нем знали, но публиковать столь рьяно, как «Щепку», не стремились. Слишком уж велика была магия имени М. Горького, пьесу раскритиковавшего в пух и прах еще в 1936 г. И слишком уж не похожа она на образцы драматического жанра 30-х годов — пьесы К. Тренева, Б. Лавренева, В. Киршона, В. Шкваркина, Вс. Иванова, да и самого Горького.

Но если преодолеть стереотипы и взглянуть на эту пьесу исторически, как на материал к биографии В. Зазубрина — автора «Двух миров» и «Щепки», писателя беспощадной честности к себе и эпохе, рыцарской преданности литературе в единстве ее эстетической и социологической ипостасей, то без «Подкопа» В. Зазубрина представить уже невозможно. Рымарев, герой пьесы, встанет тогда в один ряд с Барановским и Авериним, Срубовым и Безуглым из «Двух миров», «Бледной правды», «Щепки» и «Гор» как произведений «одного героя», характеризуя В. Зазубрина и его трагически расколотое сознание. Правда, в своем последнем произведении автор «организовал» Рымареву счастливый, естественно счастливый финал — в виду собственной незавидной участи, которую предчувствовал, тем самым обеспечив своему «Подкопу» тот интерес, интригу для будущих исследователей, которые будут знать о триумфе Рымарева на фоне ареста и расстрела его автора.



Пьеса «Подкоп» — это итог жизни и творчества Зазубрина 30-х гг., которые еще так мало изучены. Позади Сибирь — Канск и Новосибирск, «Сибирские огни» и Союз сибирских писателей, триумф Зазубрина-писателя, редактора лучшего сибирского журнала и главы сибирских писателей, столь же громкая отставка и столь же большие надежды на воскрешение. Надежды эти подал Зазубрину Горький, спасший его от литературного небытия и поманивший Москвой, с его именем связан роман «Горы», напечатанный в 1933 г. в «Новом мире». Он же увлек бывшего сибиряка журналом «Колхозник» и ВИЭМом (Всесоюзным институтом экспериментальной медицины), уводившими с проторенной дороги прозаика-«беллетриста» к проблемам изучения человека с социальной и медицинской точек зрения. Зазубрин искренне увлекся этой заветной мечтой Горького, считавшего, что человек при социализме должен достичь вершин своего развития. Только для этого надо было переделать «человеческий материал», перевоспитать его на основах коллективного труда, изгнать индивидуализм, плодящий мещанство и его пороки. С этой целью Горький развернул бурную деятельность, в короткий срок объездил пол-СССР, встречаясь с рабочими, колхозниками, молодежью, написал десятки статей и очерков, задумал впечатляющие проекты: книжные серии «История Гражданской войны», «История фабрик и заводов», «История развития сословий в России», «Жизнь замечательных людей», «Библиотека поэта», очерковый журнал «Наши достижения» и, наконец, ВИЭМ.

ВИЭМ должен был стать фактором физиологической переделки человека в здорового телесно и морально члена нового общества. Не зря в «Подкопе» страсти разгораются вокруг создания нового Института здорового человека. Зазубрин впервые знакомится с тогда еще ИЭМом в Ленинграде в 1932 г. как корреспондент редакции «Истории Гражданской войны». «В институте экспериментальной медицины был раз пять, буду еще тридцать», — сообщает он в письме Горькому (03.12.1932 г., с. 288)*. В том же году постановлением правительства ИЭМ стал государственным учреждением и был преобразован в ВИЭМ, а в 1935 г. был перенесен в Москву. Тогда же Горький сформулировал задачи института: «Изучение человека в его биологической сущности и взаимоотношениях с окружающей его средой». В. Зазубрин пишет о возрождающемся на новой основе (ИЭМ появился еще в 1890 г.) институте газетные статьи и очерки (например, в «Известия»), посылая их Горькому в Сорренто для «европейской печати» и составляя специально для него письма-отчеты. Через год он пишет большой очерк, посвященный ВИЭМу, — «История одного подкопа» (1933) на грани художественной прозы. Требования Горького к очерку нового типа, как в «Наших достижениях»: «необходимо выработать тип упрощенного очерка, сжатого, фактического, без излишних украшений от беллетристики, без крикливых газетных заголовков», — Зазубрин явно не выдержал. Собственно, «История одного подкопа» представля-

* Здесь и далее ссылки на публикацию переписки В. Зазубрина и М. Горького в т. 2 «Литературного наследия Сибири» (Новосибирск, 1972).

ла собой ряд портретов ученых — сотрудников института: И. Павлова, А. Сперанского, И. Разенкова, Г. Календарова, Л. Федорова с зарисовками их внешности, жестов, характеров в рабочей обстановке при минимуме информации о сути их работы.

Удачнее других получилась главка о А. Сперанском, в которой показан облик ученого-экспериментатора в запачканном кровью халате, «тысячами» режущего животных, революционера, «ломающего целые десятилетия науки» и мнения авторитетов, «резкого до озорства» новатора, работающего «над созданием новой теории, над выработкой новых взглядов на болезнь и больной организм». Вопреки завистникам и клеветникам, он отказывается лечить как обычный врач, потому что «подошел вплотную к тому, чтобы совершенно по-новому поставить вопрос о лечении “неизлечимых” болезней». Ему платят конфликтами: сотрудники «на него сердятся, потихоньку обвиняют в разбросанности, считают партизаном». Неудивительно, что именно к А. Сперанскому Заzubрин, так похожий на него темпераментом, азартом, увлеченностью, отнесся с большей симпатией, чем к другим. В письме к Горькому от 03.11.33 г. при отправке ему очерка он писал: «...когда я прочитал главу о Сперанском, он (профессор И. Разенков. — В. Я.) закричал: “Блестяще! Алешка живой!”» Горький, однако, восторгов автора и его первых читателей не разделил. Ему не понравились «изображенные в легкой — “французской” манере чудаковатые фигуры» ученых, которые «мало говорят — об идеях, носителями коих являются эти фигуры, и — главное — об идее ВИЭМ». Назвав статью «совершенно неудавшейся», нуждающейся в переделке «с первого слова до последнего», Горький получил от Заzubрина покаянное письмо с признанием, что ему «очень стыдно за... неудачу со статьей о ВИЭМе» и он допускает возможность «исправить... ошибку». Этого, однако, не произошло. «История одного подкопа» не была романом «Горы», в котором Заzubрин охотно исправлял замеченные Горьким многочисленные недостатки. В очерке, видимо, было что-то личное, дорогое ему, близкое той свободе самовыражения, которую он обрел в Новосибирске, в «Сибирских огнях», и потому писал его хоть и «торопливо, но с любовью». Не случайно «История одного подкопа» напоминает его «Литературную пушнину» (1927) и «Заметки о ремесле» (1928) и имеет подзаголовок «Заметки пристрастного наблюдателя». Очерк в итоге был отложен на два года, а потом преобразован в пьесу.

За это время в жизни Заzubрина произошло немало событий. В качестве члена Оргкомитета Союза писателей СССР он ездил в феврале 1934 г. в Новосибирск, чтобы провести собрание писателей в связи с подготовкой к съезду, но встретил сопротивление в лице тогдашнего главы сибирских писателей В. Итина. В апреле его роман «Горы» прошел обсуждение в том же Оргкомитете и был признан «советским», хотя и излишне натуралистическим, и в 1935 г. издан отдельной книгой. Заzubрин как делегат присутствовал на Первом съезде советских писателей, где, по воспоминаниям Н. Смирнова, «с крайним вниманием выслушивал любую речь», в том числе Б. Пастернака и Ю. Олеси, и где практически все бывшие писатели-«попутчики» с энтузиазмом приняли новый лите-



ратурный метод — социализм. И, наконец, ключевое событие столичной биографии Зазубрина: работа в журнале «Колхозник». Все эти события связаны с Горьким, вольно или невольно размечавшим жизненный путь Зазубрина. Со времени его ухода из «Сибирских огней» только Горький помогал ему: во-первых, приглашением в Москву, во-вторых, поддержкой в восстановлении в партии, из которой он был исключен 1 декабря 1928 г., затем — в издании романа «Два мира», буквально спасшем его финансовое положение, в написании и публикации романа «Горы», а еще в получении квартиры в центре Москвы, на Сивцевом Вражке, и в лечении сына Игоря, больного туберкулезом. Включение В. Зазубрина в состав Оргкомитета — тоже заслуга Горького. Заботился он и о душевном здоровье Зазубрина, зная о его раздражительности, ранимости, склонности к отчаянию, и постоянно подбадривал: «В трудные дни необходимо держать себя крепко, спокойно» (1929), «впадать в отчаяние — не следует» (1931), «очень рад, что Вы в хорошем духе» (1932) и т. п.

Понимал Горький, очевидно, и то, что литературный талант Зазубрина в большей мере художественный, чем публицистический: полубеллетристическая «История одного подкопа» доказывает это. Поэтому он и предложил Зазубрину в «Колхознике» должность редактора литературно-художественного отдела. Журнал этот, однако, по замыслу Горького, должен был напоминать очерковые «Наши достижения» и, кроме «рассказов о жизни крестьян и рабочих в прошлом», в нем должны были печататься «очерки строительства социалистического государства, статьи о работе науки, облегчающей труд колхозников... статьи о жизни людей труда в других государствах»*. Он и официально планировался не литературным, а «литературно-политическим» и «научно-популярным». В. Зазубрин, однако, со всей энергией взялся за работу. Несмотря на то что рассказы в редакционном портфеле больше напоминали очерки этнографические (география материалов при этом была широка: Кавказ, Туркмения, Кубань, Поволжье, Китай, Корея, Франция и т. д.) и научно-популярные (о природе, погоде, электричестве, кубанских плавнях, сельхозвредителях и пр.), Зазубрин искал, отбирал, редактировал, работал с авторами, «хватая за фалды всех знакомых и незнакомых... писателей», «слезно просил» дать хоть что-нибудь в журнал (письмо Горькому от 11.12.1934). Во многом благодаря Зазубрину в «Колхознике» опубликовались М. Пришвин, Б. Шергин, С. Буданцев, Э. Багрицкий, М. Исаковский, А. Прокофьев, Д. Семеновский, А. Сурков. Выручали и сибиряки, с которыми, особенно после Первого съезда советских писателей, В. Зазубрин наладил связи: М. Кравков, М. Ошаров и «московские» сибиряки Н. Чертова и М. Никитин.

Но главным прозаиком «Колхозника» оставался сам Горький, первые номера журнала начинались его рассказами «Шорник и пожарник», «Экзекуция», «Бык», «Орел». И он же оставался главным редактором, которому далеко не все, присылаемое В. Зазубриным, нравилось. Так, № 2 «Колхозника», пишет Горький, получился «значительно хуже

* Горький М. Собрание сочинений в 30 т. Т. 27. — М., 1953. С. 282.



первого», его «иллюстрации — чепуха»; о материалах № 5 следуют реплики: «слабо», «слишком легковесно», «пустая вещь» и вывод — «весь материал плоховат» (февраль 1935 г.). У Зазубрина еще были силы и терпение переносить такую оценку его работы (прошло менее полугода с начала его работы в журнале), да и Горький продолжал помогать ему: в начале 1935 г. Зазубрин вошел в правление Литфонда, что должно было быть, по его мнению, «небесполезно для советской литературы» (19.01.1935). Тем не менее именитые писатели в журнал так и не пошли, зная о придирчивости Горького-редактора, и «Колхозник» все больше стал напоминать альманах со случайным подбором более или менее сносных рассказов и статей.

На этой почве и созревает у Зазубрина решение уйти из «Колхозника». В первый раз он сообщает об этом Горькому 20 марта 1935 г., устав и от того, что «никто не хочет для нас ничего делать», и от подозрений коллег-писателей в «групповщине», и от общего чувства «неуверенности пребывания в журнале». Несмотря на совет Горького «зарядиться спокойствием сознания Вашей социальной ценности», в декабре 1935 г. Зазубрин повторяет свою просьбу. Он откровенно пишет, что «нервные потрясения возобновили старый процесс в легких», и это надо было понимать как неблагоприятное его положение в журнале и в жизни. Усугубил дело и нелепый случай с попаданием Зазубрина под машину в мае этого же года и месяц больницы, удручала и болезнь сына, и то, что сам он «в сорок лет все еще ходит в начинающих». В том же письме от 21 декабря Зазубрин впервые сообщает о пьесе: «Поставил себе задачей — написать в декабре пьесу». При этом оказалось, что готов уже первый акт, и он читал его А. Сперанскому, Л. Федорову и другим сотрудникам ВИЭМа, получив одобрение.

* * *

На первый взгляд, намерение написать пьесу выглядит неожиданным, парадоксальным: у Зазубрина очередной период спада и отчаяния, чувства безнадежности, а он принимается за произведение, да еще в новом для себя жанре. Его объяснение Горькому выглядит как будто бы правдоподобным: желание поправить свои финансовые дела, получить «прожиточный минимум». Но, с другой стороны, Зазубрин работает над пьесой явно не на заказ, а вдохновенно, «как пьяный, неотрывно», отложив недописанные «Горы». А значит, и всю трилогию, так как «Горы» — только вторая ее часть о коллективизации на Алтае. Начинаться же она должна «монгольским» романом «Золотой баран» (вариант: «Баран золоторогий»). Возможно, в этом самом заветном его замысле, возникшем еще в 1926 г. после поездки в Монголию, кроется причина такого большого интереса Зазубрина к экспериментальной медицине и нетрадиционным методам оздоровления человека. Интерес к восточной мифологии, этнографии и тибетской медицине, к которым он прикоснулся тогда благодаря инициатору поездки монголоведу А. Бурдукову, очевидно, воскрес при знакомстве с ВИЭМом, при котором существовала «тибетская ко-

миссия». В целом, писал Зазубрин в «Истории одного подкопа», «институт использует в своей работе опыт не только западной, европейской медицины, но и восточной — индусской, тибетской, китайской и др.». Этот же интерес ко всему восточному виден и в «Горах», и еще больше — в «Когутэ», алтайской сказке, которую Зазубрин перевел для «Нового мира» в 1933 г., когда писал очерк о ВИЭМе. В «Когутэ» бобренок-«шаман» дважды чудесным образом воскрешает сначала разрубленного пополам, а потом сожженного приемного отца. В поздравительном письме Горькому на его день рождения Зазубрин писал, что «одни тибетцы только в состоянии выправить Вам дыхание и вообще сделать Вам надбавку к положенному количеству лет ровно на полтора десятка», тогда как директор ВИЭМа Л. Федоров «тормозит развертывание тибетской медицины» в институте (27.03.35).

Возможно, именно этот «восточный» сюжет и положен в основу конфликта в «Подкопе» между ортодоксами из пожилых сотрудников института и новаторами, возглавляемыми Рымаревым. Ибо уверенность героя пьесы в его подходе к избавлению от неизлечимых болезней феноменальная и, главное, ничем практически не мотивируемая. Рымарев фанатично гнет свою линию, готовый пожертвовать сотрудниками лаборатории, репутацией, подвергнуться суду и даже аресту НКВД. Зазубрин избегает медицинских терминов, кроме латинских поговорок, его герой говорит общими словами: «Я начал улавливать в каждом ударе, в каждой неудаче какую-то новую закономерность» (л. 7)*. На этих «исключениях из старого канона» он и основывает свою борьбу с самыми опасными недугами, что должно привести в идеале к появлению нового человека — не болеющего сначала телесно, а затем и социально. Не зря институт в пьесе «реорганизуется» в «Институт здорового человека», а ретрограды — оппоненты Рымарева в ужасе от «совершенно невыполнимых планов работы» (л. 8) говорят о «гигантомании» в медицине, о том, что «институт хотят раздуть до необычных размеров» специально «для одного Рымарева» (л. 11).

В этом смысле в намерениях его недоброжелателей Зарянского, Гартштейна, Плигина — «научно доказать несостоятельность Рымарева» (л. 10) — есть своя правота: он действительно выглядит прожектором, как говорит о нем Зарянский, увлекшим за собой директора института Черных и даже наркома. Но прожектором в высоком, романтическом значении этого слова. В пользу Рымарева говорит его революционный пафос — «сломать старое и заменить его новым» (л. 15), его аргументы — только «силовые», а не научные. Единственная конкретика в его словах — имена европейских ученых (Вирхов, Пастер, Эрлих), которые уже «устарели». Тогда как Зарянский проводит удачную операцию и все его с этим поздравляют, Рымарев лечить (в том числе и своего учителя — академика Евладова) категорически отказывается. Он продолжает искать «основной рычаг», основу основ, при воздействии на которую «отдельные открытия» (лечение конкретных болезней) «посыпаются как

* Здесь и далее ссылки на текст рукописи «Подкопа».



бесплатные приложения» (л. 21). В Рымарева можно только верить, у него, помимо опыта и репутации «большого ученого», есть обаяние и харизма лидера, притягивающая к себе директора Черных и молодых сотрудников Шелепова и Волгунцеву. Они любят Рымарева как человека и уважают как ученого. По сути, слепо доверяет ему свою жизнь и Журналистка, ложась «на опыт в клинику». Его трехдневное пьянство и побег из Москвы в деревню — только эпизод, временное помрачение, призванное оживить и разнообразить облик героя.

Судьбы Рымарева и всего хода пьесы это не меняет: опыты по добровольному заражению людей тифом и излечению «по способу профессора Рымарева» проходят успешно. Не подтвердилось и обвинение во вредительстве. Герой остается тем же, что и в начале пьесы, возрастает лишь риторичность его речей, даже в отношениях с Волгунцевой, в глазах которой он предстает в позе «непонятого и непризнанного ученого» с «выдуманным одиночеством» (л. 58). Вот и новая любовь Рымарева — Женщина-врач может говорить о нем только штампами из дореволюционного лексикона: «Ваше имя будет поднято молодежью как знамя, на котором она напишет: “Недоверие к прошлому”. Вы широко посеяли беспокойство, заставили искать. Вы заложили основание нового канона...» (л. 62). Не на пользу пьесе и славословия бывших врагов Рымарева в его адрес — «нашествие кающихся грешников», и крики собравшихся со знаменами на улице «Да здравствует профессор Рымарев, лучший врач, друг трудящихся!». На этом фоне бесконфликтности и пафоса уже не воспринимается и основная метафора пьесы, давшая ей название, — сравнение работы ученых-медиков с работой шахтеров, когда нужно «бросить начатые шахты и начать новые, пока, наконец, не будет сделан последний подкоп» (л. 71).

Остается понять, почему столь чуткий к фальши и риторике писатель создал столь неровное, с придуманным финалом, произведение. Почему вдохновенная работа над пьесой на первых порах в итоге свелась к тексту о «наших достижениях»? Рукопись «Подкопа» показывает, что В. Заzubрин до последнего момента продолжал работать над текстом пьесы. По собственному признанию, сделанному им в письме Горькому от 19 октября 1936 г., он переделывал ее шесть раз, и, таким образом, до нас дошел седьмой вариант, напечатанный в 1937 г. Страницы рукописи пестрят правкой вплоть до вычеркивания больших кусков текста, немало вписанных ручкой слов и строк, латинских крылатых фраз, некоторые листы склеены из фрагментов: очевидно, Заzubрин хорошо поработал ножницами, правя и сокращая пьесу. Вычеркнуты три из двадцати семи действующих лиц, правда, эпизодические: Экономка, Домработница и Рыжая женщина. Наконец, исправлено и название пьесы: «Подкоп» вместо тщательно зачеркнутого прежнего. Известно, что первоначально пьеса называлась «Человеческие обязанности», и в тексте есть на это указание: Черных дважды повторяет, что долг врача — «исполнение человеческих обязанностей» (лл. 46, 64). Название «Подкоп» выглядело драматургически более выгодным, позволяя зрителю рассчитывать на нечто увлекательное, может быть приключенческое, на интригу. Видимо,

в этом направлении В. Зазубрин и пытался переделывать пьесу, сделать ее сценичнее, интереснее. В ней немало удачных сцен и живых диалогов, особенно в первых двух действиях. Подчасов, типаж говорливого и плутоватого слуги, коварный злодей Зарянский, Волгунцева — тип сильной женщины «с биографией» — этим и другим персонажам веришь, от пьесы многого ждешь.

Тем более что «Подкоп» предназначался для театра им. Вахтангова, известного своими громкими спектаклями: от «Принцессы Турандот» до «Аристократов» Н. Погодина, «Далекого» А. Афиногенова и «Много шума из ничего» по В. Шекспиру — и фирменным стилем: легким, живым, эксцентричным, острохарактерным, на грани комедии. Зазубрин пишет Горькому, что на читке пьесы среди присутствующих был и Всеволод Иванов, известный к тому времени и как драматург. «Ценные указания», которые он получил при этом, видимо, не помогли, поскольку после отправки в марте 1936 г. шестой редакции пьесы другому драматургу — Горькому Зазубрин получил от него разгромную критику. Он ждал от Зазубрина осуществления его «давней мечты» — «включения художника слова в область научной мысли, — область неизмеримо более значительную — и более мучительную — чем быт» (из письма А. Сперанскому от 17.01.33). Но именно медицины в пьесе о медиках Горький не увидел: «задача медицины как науки нигде в пьесе не выражена» так, чтобы зрители могли «понять ее глубочайшее значение». Отсюда вытекают и все недостатки: неизвестно, «чего хочет Рымарев, который нигде не сказал об этом ясными словами новатора, революционера». «Вместо человека, мыслящего философски, диалектически, дан человек неопределенных намерений, неоправданно грубоватый на словах, неряшливо пьющий спирт». «Все другие, — продолжает уничтожать пьесу Горький, — как-то недописаны, неярки», «полтора десятка врачей неспособны вызвать доверие у зрителя».

Назвав пьесу «совершенно неудавшейся», Горький предлагал «поднять выше ее тон», чтобы не укреплять в людях «вульгарного отношения к науке медицине». Зазубрин же, очевидно, решил пойти по линии Вс. Иванова, автора полукомедийных пьес, в том числе «Двенадцати молодых из табакерки», напечатанной как раз в 1936 г. в «Новом мире»: в ней выдвигалась версия о намерении заговорщиков поставить вместо Павла I купчиху Демидову. А в целом — по «вахтанговской» линии подчеркивания человеческих качеств, бытовых ситуаций, эпизодов. В последней редакции 1937 г. Зазубрин сохранил Рымарева, пьющего из мензурки лабораторный спирт в компании с живым кроликом, которого после очередной порции он «треплет за уши», и попытку обнять Волгунцеву («...пытается обнять ее. Борьба»). Не убрал полностью он и «старичков и старушек», столь возмущивших Горького. Убрано только то, что они «живут в шкафах», и оставлено: «Два старика и две старухи жадно едят и пьют» в столовой Рымарева и при его появлении «торопливо хватают со стола последние куски, жуют и уходят с поклонами» (л. 52). Очевидно, это некие приживальщики, которые ночевали у Рымарева в шкафах.

Горький предполагал, что это у Зазубрина «для комизма», сомневаясь, что это смешно, «хотя и неожиданно». На этой грани смешного и неожиданного у В. Зазубрина достаточно много эпизодов. Например, рассказ служителя Подчасова о его походах в пивную «для научных разговоров» или изобретение сыном Рымарева Илюшей «шкафа для сушки белья», который в конце пьесы загорается: «полотенце пылает» и «свет тухнет». Вполне в духе Вс. Иванова и вахтанговцев и такая неожиданная деталь, как умирающий Евладов, который «плещется в тазу рукой», «играет водой» (л. 40).

Именно академик Евладов является той фигурой в пьесе, которая имеет немалое значение для понимания сути «Подкопа», его подоплека, позволяющей взглянуть на пьесу другими глазами. В «разгромном» письме Зазубрину Горький пишет, что «фигуры Евладова и Рымарева легко узнать» и «Евладов лишний в пьесе, не связан с ней». Если в Рымареве узнается герой очерка «История одного подкопа» А. Сперанский, то за Евладовым, очевидно, скрывается академик И. Павлов: налицо фонетическое сходство фамилий, а главное, его статус патриарха и учителя Сперанского-Рымарева, авторитетного и независимого в своих поступках и суждениях. Однако исследование текста позволяет утверждать, что Зазубрин придал Евладову черты Горького. Так, он говорит словами Горького из статьи Зазубрина «Последние дни Алексея Максимовича Горького» (1936): «Долголетие — вот задача нашей науки... Организм должен работать бесперебойно до возможного предела и потом угаснуть легко, одновременно всеми частями». В статье: «Долголетие — вот наша задача» и чуть выше: «Будем бороться за то, чтобы наш организм угасал постепенно и одновременно всеми своими частями». Предсмертные монологи Евладова напоминают «беседы с молодыми» Горького и статьи последних лет об оптимизме строителей социализма: «Прогоните печаль — мать бездеятельности... Займитесь жизнью» (л. 40). Указывают на Горького и такие детали, как поздравление академика с «сорокалетием со дня напечатания первой (его. — В. Я.) книги». Сорокалетие творческой деятельности Горького широко отмечалось в СССР в 1932 г., тогда как первая книга И. Павлова вышла намного раньше горьковского «Марака Чудры». И умер Горький, можно сказать, публично, так, как в пьесе. Ясно, что цитированные выше слова из статьи Зазубрина (она же — его речь на траурном митинге на похоронах Горького) могли быть вставлены в пьесу после смерти Горького, когда и вся пьеса при переработке могла получить автобиографический уклон и смысл. Слишком много значил Горький для Зазубрина, чтобы его уход не отразился на последнем произведении.

Тогда в ином свете предстанет кампания, точнее заговор, Зарянского с соратниками по обвинению Рымарева во вредительстве. С подачи Зарянского Краснов и Белова (характерные фамилии!) прямо заявляют, что «Рымарев — классовый враг» (л. 18), его «надо выгнать» (л. 24) и проверить его деятельность «в комиссии партийного контроля» (л. 25). Зная биографию Зазубрина, нетрудно вспомнить 1925 и 1928 гг.,



когда он подвергался «партчистке» за его работу в «Сибирских огнях» и за допущенные им «серьезные идеологическими ошибки» или когда проводилось расследование о его деятельности в сызранском подполье и мнимой «службе» в жандармском отделении. В молодом Краснове тогда можно увидеть радикалов из группы и журнала «Настоящее», а прототипом Зарянского, недоброжелателя Рымарева «справа» («я грязен — бегал от большевиков», «у меня частная практика» (л. 10), говорит он), как можно предполагать, является литературный критик-«попутчик» А. Воронский, нещадно и грубо обругавший зазубринские «Горы». «Роман ваш никудышный. Герой — чепуха», — говорил он Зазубрину в 1931 г., не принял он в 20-е гг. и его «Щепку». Характерно и полное совпадение его имени и отчества — Александр Константинович — с такими Зарянского, да и фамилии их близки фонетически. Вероятно, и полемика вокруг «Гор», и обвинения Зазубрина в «групповщине» во время его работы в «Колхознике», и чувство одиночества из-за частых разладов с Горьким также повлияли на атмосферу «Подкопа». Оправдывая свой конфликт, Рымарев сам проговаривается о тревоге за свое будущее после угрозы ареста НКВД.

Не случайно и то, что перемена в судьбе Рымарева произошла после его поездки «в провинцию». Учитывая слова Женщины-врача: «Мы с вами в трех тысячах километрах на северо-восток от Москвы» (л. 61), можно не сомневаться, что это Сибирь — место, где Зазубрин родился и прославился своим творчеством и организаторским талантом. Оглядываясь на свою московскую жизнь, журнал «Колхозник», на свое отношение к Горькому, он видел, что сравнение явно не в пользу Москвы. В этом свете образ Рымарева в пьесе предстает автобиографическим, а «Подкоп» в целом — зашифрованной исповедью о своем одиночестве и тщетных попытках найти тот «основной рычаг», который помог бы победить основную «болезнь» — невозможность написать произведения, книги, которые получили бы признание. Возможно, с этим связано возвращение Зазубрина в апреле 1937 г. к недописанным «Горам», по которым «соскучился». «Наконец-то взялся за ум», — пишет он В. Ряховскому, тем самым словно повторяя отъезд Рымарева в Сибирь. Возвращаясь к «Горам», Зазубрин возвращался, пусть и умозрительно, в свои лучшие годы.

Неизвестно, возвращался ли Зазубрин в течение двух оставшихся ему на свободе месяцев до ареста к «Подкопу». Но факт остается фактом: пьеса дошла до нас хоть и в готовом виде — с адресом и телефоном автора, рассчитывавшего на контакт с прочитавшими ее, но и со следами значительной правки на этом «готовом» экземпляре. Скорее всего, все-таки пьеса была отложена Зазубриным до лучших времен, до новой правки. Возможно, была и просто брошена, как «безумие», охватившее его в тяжелый период жизни. До сих пор он пьес не писал и явно испытывал трудности в этом жанре. Хотя бы в таком элементе, как экспозиция, когда появление главного героя у него происходит уже в начале пьесы, ничем не подготовленное. И в течение всей пьесы Рымарев не меняет, повторяя один и тот же тезис на тему «Карфаген (т. е. старая наука)

должен быть разрушен». Несмотря на попытки автора оживить «Подкоп», в нем много статики: все действие происходит в стенах института и лишь две сцены — в квартире Рымарева и в купе поезда. Все большое второе действие — «разговорное», возле умирающего Евладова. Можно говорить и о следовании Зазубрина-драматурга канонам соцреализма, когда Черных произносит: «В СССР плохие концы отменяются» (л. 69) и автор, вопреки характеру своего литературного дара, замешанного на Достоевском, сочиняет пьесе хэппи-энд, лишая «Подкоп» и Рымарева подлинного драматизма.

Хороший пример могли бы подать Зазубрину пьесы А. Афиногенова, возможно, оставившие след и в «Подкопе». Так, его пьеса «Страх» вызвала в начале 1930-х гг. большой резонанс, вплоть до вмешательства самого Сталина. Речь в ней идет о сотрудниках Института физиологических стимулов, только главный ее герой, профессор Бородин, не новатор в биологии, а, наоборот, консерватор. Он по-прежнему, даже при советской действительности, считает, что «вечными безусловными стимулами человека являются только любовь, голод, гнев и страх»*. Чтобы убедиться в обратном, т. е. в том, что страх — продукт и инструмент «мира рабства и угнетения», а при социализме человеком правит «бесстрашие классовой борьбы», так что «скоро дети будут искать объяснения слова “страх” в словаре», ему пришлось пережить предательство своих учеников и соратников (аспиранта Кастальского, профессора Захарова, секретаря института Варгасова, использовавших его в своих политических целях), узнать подлинную дружбу других и получить урок политграмоты от старой «партийки» Клавдии (Клары) Спасовой. Для пьесы характерна динамика образов героев: они действительно живут, переживают свои ошибки и заблуждения, научные и любовные, постоянно меняются. Не зря на Первом съезде советских писателей Афиногенов говорил, что «драма — это поэзия действия», а писатели — «конструкторы человеческих душ, производственники, организаторы человеческого материала»**. Говорил он это, однако, уже после истории с его пьесой «Ложь», подвергнутой Сталиным острой критике и личной правке. Здесь, кстати, есть сцена с пистолетом, из которого героиня стреляет в своего друга. В «Подкопе» Волгунцева свой браунинг лишь отдает Рымареву на хранение.

Зазубрин, который на съезде «любую речь» слушал внимательно, мог взять на заметку эти слова Афиногенова. Но знал он, видимо, и другие слова из статьи своего учителя и опекуна Горького «О пьесах» (1933), где последний писал: «Пьеса... — самая трудная форма литературы», потому что «требует, чтобы каждая действующая в ней единица характеризовалась словом и делом самосильно, без подсказываний со стороны автора», без его «свободного вмешательства»***, как это происходит в прозе. Знакомая с «Подкопом», мы видим, как не хватило Зазубрину его «вме-

* Афиногенов А. Страх. — М., 1933. С. 13.

** Первый всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. — М.: Советский писатель, 1990. С. 429.

*** Горький М. Собрание сочинений в 30 тт. Т. 26. — М., 1953. С. 411.

шательства» в собственную пьесу. Может, лучше было бы ему сделать из очерка «История одного подкопа» не пьесу, а повесть или роман, как советовал Горький Вс. Иванову поступить со своими «Двенадцатью молддцами...». Фигура А. Сперанского, прошедшего, как и Зазубрин, через службу у белых в Гражданскую войну, отказавшегося от карьеры клинического хирурга ради работы у И. Павлова, могла бы под пером Зазубрина-прозаика вырасти в героя подлинно художественного произведения. Читатель же пьесы «Подкоп» убеждается, насколько трудное испытание Москвой и Горьким, муками творчества выпало Зазубрину после отъезда из Сибири. И потому Рымарева можно смело ставить в один ряд с Барановским, Аверьяновым, Срубовым, Безуглым, судьбы которых трудны, героичны, трагичны независимо от времени и места, будь то Гражданская война или торгашеский НЭП, подвалы ЧК или кулацкая деревня на Алтае. Рымарев в «Подкопе» проходит испытание на преданность своей научной идее, о которой он так и не рассказал читателю — не хватило «авторского вмешательства», не хватило жанра.

Если бы Зазубрин все-таки написал прозу о ВИЭМе, то, конечно, раскрыл бы тайники души своего героя, как это было в «сибирских» произведениях. Некоторые детали и наблюдения, с которыми мы ознакомили читателя в этом предисловии, позволяют считать, что Зазубрин в этой пьесе с помощью Рымарева-Сперанского* невольно возвращался в контекст не только «Двух миров», «Бледной правды», «Щепки», но и своей биографии, тоже похожей на роман или драму. И мы невольно слышим голос Зазубрина в воспоминаниях врача Рымарева, когда последний говорит о том, что «образ войны не покидает меня с тех пор, как через мои руки прошли тысячи раненых на германском фронте и тысячи на гражданских» (л. 47). И как не Рымарев, а Зазубрин в ответ на слова Черных о том, что их ждет суд, говорит: «Значит, расстрел?» (л. 53). После смерти Горького, ареста и гибели своего сибирского соратника В. Вегмана, о чем он мог слышать от приезжих сибиряков, «московских процессов» над Зиновьевым и Каменевым, над Бухариным — Зазубрин не мог не думать о своей участи. С его-то трудной и опасной для собственной жизни биографией!

К сожалению, рамки предисловия не позволяют развернуть в полной мере все мысли, предположения и догадки, которые возбудит в заинтересованном читателе публикуемый здесь текст. Мы можем отослать любопытствующих к нашей книге «Зазубрин» (Новосибирск, 2012), а также пожелать новым читателям Владимира Зазубрина и его исследователям успехов в изучении его жизни и творчества. Надеемся, что его пьеса «Подкоп» придаст этому хороший импульс.

* Возможно, и тут не обошлось без подсказки Горького: «Горький ценил Алексея Дмитриевича не только как ученого, но и как... находку для писателя. О том же говорил драматург А. Штейн...: "Какой это был так и просившийся в литературу образ! Остается лишь горько пожалеть, что никому, и мне в том числе, не посчастливилось написать его во всю ширь и глубь так, как он того заслуживал"». Цит. по кн.: Делицына Н. С., Магаева С. В. Академик Алексей Дмитриевич Сперанский. — М.: Изд-во РУДН, 2003. С. 118.

Владимир ЗАЗУБРИН

ПОДКОП

*Драма в четырех действиях, восьми картинах*¹

Действующие лица:²

Е в л а д о в Михаил Михайлович, академик, 70 лет.
Е в л а д о в а Татьяна Фоминична, его жена, 60 лет.
Д у н я, домработница Евладовых.
З а р я н с к и й Александр Константинович, профессор, 60 лет.
Р ы м а р е в Дмитрий Владимирович, профессор, 45 лет.
Р ы м а р е в Илюша, его сын, 14 лет.
А к и м о в н а, домработница Рымарева, пожилая женщина.
Ч е р н ы х Иннокентий Николаевич, директор института, 35 лет.
Г а р т ш т е й н Лев Львович, профессор, 45 лет.
В о л г у н ц е в а Валентина Алексеевна, научная сотрудница, 35 лет.
Б е л о в а Софья Семеновна, научная сотрудница, 30 лет.
П л и г и н Евтихий Аристархович, профессор, 65 лет.
Ш е л е п о в Алексей Александрович, профессор, 35 лет.
В о л к о в, научный сотрудник, 22 лет.
К р а с н о в, научный сотрудник, 35 лет.
П о д ч а с о в Матвей Иванович, служитель, 55 лет.
Ф е л ь д ш е р, 60 лет.
Ж у р н а л и с т к а, 25 лет.
Ж е н щ и н а - в р а ч из провинции, ее сестра, 30 лет.
Ж е н щ и н а, их мать, моложавая, 48 лет.
С т а р и к р а б о ч и й.
М о л о д о й р а б о ч и й.
Р а б о т н и ц а средних лет.
С о т р у д н и к и, больные, гости.

¹ Подготовка текста и примечания В. Н. Яранцева. В примечания входят также элементы описания рукописи пьесы, сохранившейся в одном экземпляре в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ, ф. 962, оп. 1, ед. хр. 174) и легшей в основу этой публикации. Указываются только на существенные сокращения, сделанные, судя по особенностям почерка, автором. Полное описание текста рукописи (правка отдельных слов, их порядка в предложении, особенностей пунктуации, стилистики, словоупотребления и т. д.) и полный комментарий возможны при научном издании рукописи.

Пунктуация и орфография по возможности приведены в соответствие с современными нормами. Основная пагинация — РГАЛИ, в ряде случаев делаются ссылки на пагинацию автора. Сокращения: АП — архивная пагинация; АвП — авторская пагинация; ИОП — «История одного подкопа»; ИЭМ — Институт экспериментальной медицины (до 1932 г.); ВИЭМ — Всесоюзный институт экспериментальной медицины (после 1932 г.); ЛНС — Литературное наследство Сибири. Т. 2. / Ред. Н. Н. Яновский. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1972.

На л. 1 рукописи (АП) надпись чернилами: «Адрес автора — Москва, Сивцев Вражек, д. 15/25, кв. 83. Телефон Г-1-29-96. Владимир Яковлевич Зазубрин». На л. 2 (АП) название пьесы «Подкоп» написано чернилами над зачеркнутым текстом. Слово «восьми» вписано вместо зачеркнутого. Вверху листа инициал и фамилия автора: В. ЗАЗУБРИН, внизу: МОСКВА, 1937.

² В списке действующих лиц вычеркнуты: «Пелагея Ивановна, его (Зарянского. — В. Я.) экономка, 55 лет»; «Даша, домработница Зарянского»; «Рыжая женщина».

Действие первое

Картина первая

Лаборатория Рымарева. Стол с колбами, мензурками, пробирками. Табуретки. Кран водопровода и раковина. Лестница и кабинет, где небольшой стол с книгами и бумагами, жесткое кресло, телефон. Стены и мебель белые. Рымарев в кабинете пишет. Подчасов поднимается к нему с клеткой.

Подчасов. Дмитрий Владимирович, кролик в № 17 околел.

Рымарев (*кладет перо, разглядывает кролика*). Еще неудача, еще сомненье...

Подчасов. Вскрывать сами будете или профессор Шелепов?

Рымарев. Непременно сам и немедленно. Неудач у нас с тобой, Матвей Иванович, накопилось столько, что они перестают меня огорчать и даже, наоборот, начинают радовать.

Подчасов. Известно — не быть бы счастью, да помогло несчастье. Народная диаматика³.

Рымарев. А ты что же, Матвей Иванович, диаматикой этой все в кружке занимаешься?

Подчасов. И в кружке, и специально для научных разговоров хожу в пивную. Знаете, достопримечательная такая около нашего института? Другой раз взойдешь и не знаешь, куда сесть, кругом одни профессора и доценты.

Рымарев. Знаю я эту пивную.

Подчасов. Обыкновенно выберешь какого-нибудь заслуженного деятеля науки и сейчас к нему. Заслуженные, они как-то ласковее к человеку. Дозвольте, мол, присесть за ваш столик. Требуешь бутылочку, смачиваешь голос, встаешь в позицию и начинаешь. (*Декламирует.*) Гражданин, мне ужасно нравится такая картина. Представьте себе Галилейское озеро. Иисус Христос со своими учениками ловит рыбу. Рыбы, конечно⁴, нет. Тогда Христос говорит ученикам — Господа...

Рымарев. Дальше?

Подчасов. Дальше оглушительный аплодисмент и каждый меня тащит к себе и на свой счет угощает пивом. Ученые, они любят про божественное. Особенно есть у меня друг профессор, № 49 по улице Максима Горького...

Рымарев (*смеется*). Насчет рыбы ты это умно... Рыбы, конечно⁵, нет... Две реки текут рядом: в одной — рыба, сетей нет, в другой — сети, рыбы нет.

Подчасов. Вы это касательно науки и жизни закидываете?

Рымарев. Именно о них речь.

Подчасов. Ученые, они все рыбу ловят в одной реке.

³ Диаматика — диалектический материализм.

⁴ Слово «конечно» выделено разрядкой.

⁵ Слово «конечно» выделено разрядкой.

Р ы м а р е в. Неплохо сказано. Ты Сталина читал?

П о д ч а с о в. Больше прислушивался по радио.

Р ы м а р е в. «Теория есть опыт, взятый в его общем виде». Не все это знают, потому и думают, что мы науку высасываем из пальца... Матвей Иванович, разве мы с тобой мало работаем? Навалим до потолка собак — чего-нибудь с ноготь (*показывает*) узнаем, навалим ворох (*показывает*) кроликов, кошек и еще на волос продвинемся вперед. Животное режется на пятнадцать тысяч срезов. Моя лаборатория делает их три миллиона в год. Три миллиона срезов, ведь это метрострой⁶. (*Горько.*) А говорят, Рымарев болтун.

П о д ч а с о в. Во всяком гении на 95 % потения и на 5 % гения.

Р ы м а р е в. Уважаю тебя, Матвей Иванович. Мы тебя учили, но и сами у тебя учились. Ты не спутал ни одного животного из тысяч за столько лет. Наш успех во многом от твоих умелых рук.

П о д ч а с о в. Очень вами доволен, Дмитрий Владимирович.

Р ы м а р е в. Люблю тружеников, ненавижу магов, прорицателей с дугообразными бровями и высоким челом. Настоящий ученый — это горб грузчика, сорок потов и злоба такая, точно стая волков воеет и щелкает зубами.

П о д ч а с о в. Ночь другой раз просидишь над животным и, верные ваши слова, готов самую эту неповинную тварь зубами разорвать, с опытом если неудача.

Р ы м а р е в. Не кажется ли тебе, Матвей Иванович, что нам пора от неповинных тварей перейти к повинным? Ты понимаешь, какое положение — лечить мы обязаны, отвечать должны, а спросить не имеем права. Опыт есть вопрос, обращенный к природе⁷. Человек — та же природа, но можем ли мы и ее обеспокоить вопросом?

П о д ч а с о в. Мое мнение — вполне даже можем. Сколько народу зазря пропадает в больницах.

Р ы м а р е в. Ну, готовь кролика.

Подчасов спускается вниз, ставит клетку на пол.

За всю историю медицины нашелся только один ученый, Аноним из Пфальца, который тайно прививал здоровым людям болезни и наблюдал их ход, как на животных. Аноним из Пфальца своими современниками был проклят, и законно, однако он оказал немалые услуги науке. (*Пауза.*) Но ведь мы не можем последовать его примеру.

П о д ч а с о в. Нам анонимности ни к чему. (*Выходит и возвращается с небольшим столиком.*) Директор идет.

⁶ См. очерк В. Зазубрина «История одного подкопа» (ИОП): «Новый институт... настоящий метрополитен науки... Метрострой науки даст своим строителям точные планы, укажет направление главных штреков, поставит перед ними единственную проблему — проблему здорового человека» (ЛНС, с. 153).

⁷ Ср. в ИОП: «Эксперимент есть вопрос, обращенный к природе» и сноску В. Зазубрина: «А. Сперанский. Об эксперименте и экспериментаторе. — "Год шестнадцатый". Альманах 1, изд. "Советская литература", 1933» (ЛНС, с. 148).

Входит Черных.

Черных. Профессор Рымарев у себя?

Подчасов. Так точно, в кабинете.

Черных (*идя навстречу спускающемуся Рымареву*). Ты что это, Дмитрий, ночевать собрался в лаборатории? В институте давно ни души. (*Рукопожатие.*) Вчера ты своим докладом наделал шуму. Очень обижаются на твое неуважение к родителям. Некоторые готовы объявить тебя врагом науки.

Подчасов кладет инструменты и кролика на стол.

Рымарев. Старая история. Сначала кричат — нелепо, невозможно, жулик. Гальвани называли лягушачьим танцмейстером, Франклина — плутом, Эдисона — чревоуцателем.⁸ Потом начнут воровать, подражать и, наконец, изрекут — ничего нового. Предвижу всю мышиную возню Плигиных, Зарянских, Гартштейнов вокруг моих работ и реорганизации нашего института и заранее плюю на всех.

Черных. Мало быть ученым, надо быть и политиком. Смотри, Дмитрий, снимут тебе голову не большой горой, а соломинкой.

Рымарев. Ты знаешь что-нибудь серьезное?

Черных. Старая история, как ты говоришь, и пока ничего особенного⁹.

Рымарев. Иннокентий, ты у нас и политик, и директор, и ученый, тебе и карты в руки. А меня уволь.

Подчасов. Дмитрий Владимирович, кролик готов.

Рымарев (*подходит к столику*). Ты вот говоришь, меня обвиняют в неуважении к родителям. Мы, например, долго жили по старому канону и высоко ценили блистательные традиции Эвклида — Ньютона, давшие нам возможность столетия мыслить точно. Однако теперь канон Эвклида — Ньютона уступает место новому... Иннокентий, представь себе рыбака, выходящего в море со старыми лодциями, составленными, скажем, Вирховым, Пастером¹⁰ и другими не менее славными умами. Первый удар подводной скалы в дно утлого суденышка, именуемого медициной, наводит нас на мысль о нашем неумении. Второй, третий удары и ветер совсем не с той стороны, с какой бы ему полагалось, вызывают у нас некоторое беспокойство. Неожиданный шторм и отсутствие рыбы наполняют страхом сердца даже у отважных ловцов. Дрожал и я, вслушиваясь и вглядываясь в темь стихии. Страшно было, что многое, обусловленное правилами старого канона, не выходило, получалось все не так, боком или совсем вверх дном. Наконец, преодолевая свою глухоту, я

⁸ Гальвани Л. (1737—1798) — итальянский врач, анатом, физиолог, физик. Франклин Б. (1706—1790) — американский политический деятель, изобретатель, писатель. Эдисон Т. (1847—1931) — американский изобретатель и предприниматель.

⁹ «И пока ничего особенного» вписано чернилами вместо зачеркнутых слов.

¹⁰ Вирхов Р. (1821—1902) — немецкий ученый и политический деятель, врач, патологоанатом, физиолог, гистолог. Пастер Л. (1822—1895) — французский микробиолог, химик.

начал улавливать в каждом ударе, в каждой неудаче какую-то новую закономерность. Мы плавали по канону, а жизнь копила исключения из него, и исключений этих накопилось в конце концов столько, что они обратились в правила. Мы ныне являемся свидетелями того, как исключения из старого канона, обратившись в правила, начинают складываться в новый канон. Мне хочется дожить до того времени, когда мы сможем оглянуться назад и сказать, что старый канон был просто провинциализмом, ограниченностью. *(Склоняется над кроликом.)*

Занавес.

Картина вторая

Кабинет директора института Черных. Кожаная мебель, письменный стол.

На сцене никого. Входят З а р я н с к и й с Б е л о в о й.

З а р я н с к и й. Медицина, Софья Семеновна, она вроде строгой генеральши — никаких «никак нет» и «не могу знать» терпеть не может. Хоть и не сумеешь вылечить, а лечи. Хоть и не знаешь, а должен говорить «знаю». *(Оглядывается.)* Никого еще нет. Ну, мы не гордые, обождем.

Садятся.

До войны был у меня случай. Приходит ко мне богатый татарин и спрашивает, могу ли я определить, действительно ли его сын есть его, а не приبلудный. Я натурально отвечаю — могу. *(Смеется.)* Предупреждаю только, что исследование будет стоить дорого. Приезжаю к нему с микроскопом, ставлю его на стол, колю мальчику в палец, беру мазок и говорю — смотри. Татарин смотрит. Запомни. Тыкаю и его в палец, смотри. Смотрит. Ну, спрашиваю, как? Он мне блаженно, с улыбкой во всю рожу: «Сапсем адинаковый кровь». Благодарю Бога, твой сын. Получил должное, выхожу, а в передней стоит его супруга, бледная как смерть, и сует мне дрожащей рукой пятисотку. Я хрустнул бумажкой и погрозил татарке пальцем: «Смотри, голубушка, в другой раз. Мне в трубочку все видно». Хо-хо-хо! *Medicina ars divina.*¹¹

Входит Г а р т ш т е й н.

Г а р т ш т е й н *(жмет руку Зарянскому)*. Все газеты сегодня пишут о вас. Признаю — заслуженно. Вы сделали операцию, действительно, редкой красоты. Поздравляю от всего сердца.

З а р я н с к и й *(кланяется)*. Тронут.

Входит П л и г и н.

¹¹ «Медицина — божественное искусство» (лат.). Здесь и далее латинские выражения вписаны чернилами.

П л и г и н (*целует руку у Беловой*). Рад приветствовать в вашем лице интереснейшую женщину и человека призванного объединить в институте все здравомыслящие элементы.

Б е л о в а. Вы очень любезны, Евтихий Аристархович.

П л и г и н (*обращаясь ко всем*). Вы, конечно, слышали, граждане, нелепую новость — наш институт реорганизуется в Институт здорового человека¹². Каждому дается совершенно невыполнимый план работы.

Г а р т ш т е й н (*иронически*). Мы, по-видимому, должны будем в первую свою пятилетку ликвидировать все эпидемические болезни, во вторую — все социальные... Рымарев, говорят, уже обещал наркому в ближайший год или два уничтожить чуть ли не чуму.

Общий смех.

П л и г и н. В новом институте профессор Рымарев — первая скрипка. Невероятно, граждане. Нарком введен в заблуждение. Софья Семеновна, мы просим вас через вашего мужа...

З а р я н с к и й (*громко вступает в разговор, заглушая конец фразы Плигина*). Институт здорового человека. Не напоминает ли вам сие пышное название покойных институтов красоты? (*Возмущенно.*) Раньше такие заведения хоть помещались в простых цирюльнях и всей наукой там заправлял куафер Жан...

Г а р т ш т е й н. Человек с дерзостью дикаря зачеркивает столетия кропотливого труда ученых и говорит, что лечим мы неправильно, что так лечить вообще не надо, а как надо, он и сам не знает.

З а р я н с к и й. В конце концов, институтом больше, институтом меньше. В Москве институтов теперь как церквей в старое время. Важнее, вы правильно заметили, Лев Львович, дерзость Рымарева. Нельзя озорничать в науке.¹³

П л и г и н. Рымарев поозорует и утихнет, а институт останется на посмешище всей Европы.

З а р я н с к и й. Если бы нам удалось склонить на нашу сторону академика Евладова...

П л и г и н. Михаил Михайлович Евладов чересчур своенравен и может высказаться самым неожиданным образом.

З а р я н с к и й. Все-таки попробовать не мешает. Софья Семеновна, а вы ничего не можете сделать?

Б е л о в а. Меня сейчас об этом просил уже Евтихий Аристархович. Неужели вы не знаете, что мой благоверный профессор Белов влюблен в Рымарева? (*Передразнивает.*) «Рымарев — наша надежда».

¹² В постановлении Совнаркома СССР от 15.10.1932 г. о ВИЭМе говорилось, что он «создается в целях всестороннего изучения организма человека» (ЛНС, с. 93).

¹³ См. в ИОП: «В своих разговорах и публичных выступлениях Сперанский резок до озорства. <...> Сперанский, несмотря на свое озорство, очень скромен, а по отношению к себе необычай-но строг. <...> ...маленький, худой, большелобый, озорной и ласковый человек в толстовке» (ЛНС, с. 149—151).

Г а р т ш т е й н. Граждане, разрешите протестовать против таких методов борьбы. Мы должны совершенно открыто, честно и научно доказать несостоятельность Рымарева.

З а р я н с к и й. Борьба есть расчет, следовательно, все средства...

Г а р т ш т е й н. Борьба должна вестись только достойными средствами и... очень осторожно. У нас относятся с недоверием к критике нового или мнимо нового. Наоборот, крикун, ругающий старое, может создать себе имя новатора, и тогда всякое разумное сопротивление ему будет принято чуть ли не за вредительство. Вам тогда, Александр Константинович, конечно, вспомнят и вашу склонность к частной практике, и...

З а р я н с к и й. Не отрекусь, ибо признаю только один раздражитель (*жест пальцами обеих рук*) — пети-мети, и притом в исключительно больших дозах.

Г а р т ш т е й н. Не клеветайте на себя, Александр Константинович. Ваше искусство врача и совершенно самоотверженная работа у постели больного известны всем.

Зарянский кланяется.

Рымарева называют уже новатором, следовательно, его противников могут заподозрить...

П л и г и н (*напыщенно*). Свои основные положения он заимствовал из моих ранних работ. Я тридцать лет тому назад писал то же, что он утверждает только теперь.

Г а р т ш т е й н. Мы должны требовать обследования института комиссией советского контроля.

З а р я н с к и й. Очень верный ход.

П л и г и н. Здравомыслящие должны немедленно...

Г а р т ш т е й н. Вы думаете, мы их найдем в достаточном числе?

П л и г и н. Здравомыслящих найдется немало... Профессор Плигин (*показывает пальцем себе на грудь*), профессор Зарянский...

З а р я н с к и й. Мне надо держаться в стороне. (*Горько.*) Я грязен — бегал от большевиков. Я корыстолюбив — у меня частная практика.

П л и г и н. Пустое. Профессор Гартштейн...

З а р я н с к и й. Гартштейн, вот это боец — честен, бескорыстен, учен.

Г а р т ш т е й н. Вы преувеличиваете, Александр Константинович. Все мы люди.

З а р я н с к и й. Не скромничайте, Лев Львович.

Входит Е в л а д о в.

Е в л а д о в (*быстро входя*). Здравствуйте, господа.

П л и г и н. Михаил Михайлович, мы все просим вас присоединиться к нам и протестовать...



З а р я н с к и й. Михаил Михайлович, встаньте на защиту свободного человеческого духа. Товарищ Черных, наш директор, хочет навязать каждому ученому какие-то фантастические планы работы.

П л и г и н (*иронически*). Наука и план. Гений и поправки товарища Черных.

З а р я н с к и й. Захворала сама медицина. Болезнь модная — гигантомания. Наш институт хотят раздуть до необычайных размеров. Все это делается, конечно, только для одного Рымарева.

Е в л а д о в. Для Рымарева?.. Впрочем, Рымарев мой лучший ученик.

П л и г и н (*шепотом, Зарянскому*). Я говорил, говорил...

Г а р т ш т е й н. Рымарев был вашим учеником. Десять лет он работает самостоятельно, и его работы не совсем похожи на ваши.

Е в л а д о в. Учитель и ученик — история сложная.

Г а р т ш т е й н. Рымареву стали слишком много доверять. Наш долг — вовремя предупредить кого следует.

П л и г и н. Михаил Михайлович, ведь правительство с нас с вами спросит. Мы, скажут, вам построили, а вы давайте нам всякие новые методы.

Е в л а д о в. Что случилось, господа?

З а р я н с к и й. У нас начинают думать, что успехи науки прямо пропорциональны количеству предоставленной ей жилплощади, перестают видеть границу между строительством научного института и простой электростанции. Сегодня построили — и сегодня дали свет. Сегодня новое здание института — и сегодня чудеса в науке.

Е в л а д о в. Ну-с?

З а р я н с к и й. Позор неизбежного провала этой затеи падает и на нас, и на вас, если вы не вмешаетесь.

П л и г и н. Они хотят подвергнуть эксперименту че-ло-ве-ка. Михаил Михайлович...

Е в л а д о в. Я ничего не хочу знать, кроме своей лаборатории. У меня осталось слишком мало времени.

Все пожимают плечами.

Должен вас поставить в известность, господа, что моя болезнь, по-видимому, серьезнее, чем можно было предполагать. Необходима операция.

З а р я н с к и й. Вы поедете оперироваться в Берлин?

Е в л а д о в. Откуда вы взяли, что немцы режут лучше русских? (*Резко.*) Я буду оперироваться в вашей больнице.

Зарянский и Плигин переглядываются. Они явно недовольны.

З а р я н с к и й (*тихо, Плигину*). Благодарю покорно, резать семидесятилетнего, умрет на столе от старости, а потом будут болтать — Зарянский академика Евладова зарезал.

Е в л а д о в (*наблюдая за лицами собеседников*). Вам, конечно, трудно меня оперировать. Мы старые друзья. (*Пауза.*) Я решил: (*резко*) оперировать меня будут молодые хирурги — госпожа Волгунцева и господин Волков. Операция под местным наркозом. Операцией буду руководить я. (*Круто поворачивается к столу, садится. Пауза.*) А Рымарев молодец.

З а р я н с к и й. Если мне не изменяет память, десять лет тому назад вы сами удалили Рымарева из своей лаборатории?

Е в л а д о в. Учителя думают, что ученики всю жизнь должны оставаться учениками. Каждому хочется, чтобы его мысли не устарели и через двести, и через триста лет. Мы все претендуем на роль пророков и благодетелей рода человеческого. Евладов открыл. Евладов установил. Also sprach Zarathustra.¹⁴ (*Горько смеется.*) Рымарев удален мною за то, что осмелился мыслить самостоятельно в лаборатории академика Евладова.

Входит Ч е р н ы х.

Ч е р н ы х. Ну, прямо здорово. Александр Константинович. Поздравляю.

З а р я н с к и й. Служим народу, товарищ командир.

В дверях Р ы м а р е в и В о л г у н ц е в а.

Р ы м а р е в. Дьявольски хорошо сделали операцию. Поздравляю.

З а р я н с к и й. Спасибо.

Р ы м а р е в (*идет к Евладову*). Михаил Михайлович, вы знакомы с моей сотрудницей Валентиной Алексеевной Волгунцевой? (*Жест.*)

Е в л а д о в (*кивает головой*). Я слышал об успехах Валентины Алексеевны, когда она еще работала в клинике МГУ.

Черных садится рядом с Евладовым, перебирает бумаги.

З а р я н с к и й (*умышленно громко*). Скажите, барышня...

В о л г у н ц е в а. Я не барышня, я научный работник...

З а р я н с к и й (*так же громко*). ...вы не родственница генерала Волгунцева, знаете, который еще в пятом году отличился на усмирении?

В о л г у н ц е в а (*не менее громко*). Самая близкая родственница — когда у его бабушки забор горел, мой дедушка поясицу грел.

З а р я н с к и й. Неглупа и недурна. Одобрю. (*Трогает орден на груди у Волгунцевой.*) А времена какие пошли, девчонкам ордена дают. (*Вздыхает.*) Мы за такую блямблю двадцать пять лет трубили. (*Пауза.*) Ваша фамилия, верно, скорее купеческая?

В о л г у н ц е в а. Вы почти угадали. Мой отец — слесарь.

З а р я н с к и й. Зубастая у вас, Дмитрий Владимирович, помощница и с хорошими папо-мамами.

Р ы м а р е в. Каков поп — таков и приход.

¹⁴ «Так говорил Заратустра» (нем.) — название известной книги Ф. Ницше.

З а р я н с к и й. Ну вы сами-то, кажется, не из пролетариев?

Р ы м а р е в. Я сын врача. Что из этого следует?

З а р я н с к и й. Из этого следует, что вы сын врача и я сын врача. Вы врач, и я врач. (*Хлопая Рымарева по плечу.*) Ни вам, батенька, ни мне мира все равно не перевернуть. Все, что ты проповедуешь, было известно и раньше.

Рымарев резко отстраняется.

Что, испугался? (*Смеется.*) Шучу. (*Пытаясь обнять Рымарева.*) Один в науке не воин. А ты ведь один. Ничего из твоей затеи не выйдет, поверь старику.

Р ы м а р е в (*отходит от Зарянского*). Один я не сделаю всей медицины, и на том пути, которым она идет, ее не сделает никто. (*Живо.*) Надо проложить новые дороги, толкнуть на них других.

З а р я н с к и й. Жизнь не ждет, пока мы создадим новые теории, надо лечить.

П л и г и н (*подсаживается к Евладову, вытаскивает газетную вырезку*). Вырезочка у меня приготовлена интереснейшая. Не угодно ли, Михаил Михайлович? (*Отдает.*)

З а р я н с к и й. Дмитрий Владимирович, в своей среде мы всякое можем говорить, но непосвященные ничего знать не должны...

Е в л а д о в (*комкает газету*). Наука не может быть партийной! Она свободна!¹⁵

Ч е р н ы х. Простой подсчет закрытых в Европе и Америке научных институтов обнаружит полнейшую зависимость науки от политики.

Е в л а д о в. Весь мир — сумасшедший дом!

З а р я н с к и й. Обманывайте больных, и им и нам легче будет. Если же мы больному начнем говорить, что медицина — наука несовершенная, то он откажется верить врачам, а лучше ему все равно не станет. Да, по совести говоря, и несправедливо такое облыжное осуждение медицины. Неужели мы не умеем лечить? Разве Зарянский плохой врач?

Р ы м а р е в. Отличный врач.

З а р я н с к и й. Вас тоже ценят за прошлую вашу работу, когда вы были настоящим врачом.¹⁶ (*Пауза.*) Теория. Мир покрыт тысячелетней пылью теорий — и ему хоть бы хны.

¹⁵ Ср. с высказыванием академика И. Павлова: «А введен в устав академии параграф, что вся научная работа должна вестись на платформе учения Маркса и Энгельса — разве это не величайшее усилие над научной мыслью? Чем это отстает от средневековой инквизиции?» (*Звезда*, 1989, № 10, с. 113).

¹⁶ Очевидно, что прототипом Рымарева является А. Д. Сперанский. Сперанский Александр Дмитриевич (1888—1961) — ученый-медик, специалист в области физиологии и патологии человека, академик АН и АМН СССР. Окончил Военно-хирургическую академию, был главным врачом дивизионного перевязочного отряда во время Первой мировой войны, награжден четырьмя боевыми орденами. В Гражданскую войну мобилизован колчаковцами, после войны избран профессором Иркутского университета и заведующим хирургической клиникой, сделал блестящую карьеру хирурга, анатома и антрополога. С 1922 г. работает «приватно» в Петрограде под руководством И. Павлова в ИЭМе. В 1927 г. официально принят в штат института. Разрабатывал учение И. Сеченова и И. Павлова о нервизме. Считал, что «лечение может быть эффективным, когда активизируются естественные механизмы выздоровления» и за заболеванием должно следовать сначала выздоровление, а потом лечение (Делицына Н. С., Магаева С. В. Академик Алексей Дмитриевич Сперанский. — М.: Изд-во РУДН, 2003. С. 34-35).

Рымарев. Мне кажется, я кое-что сделал не только в прошлом, но и в настоящем, иначе почему бы вам всем поднимать такой шум?

Зарянский. Увлёк директора института и наркома на путь опаснейшего прожектёрства.¹⁷

Рымарев. Вы меня тащите от индустрии к кустарному производству.

Зарянский. Громкие слова. Скромности побольше. *Vita brevis, ars longa, experimentum fallax, iudicium difficile.*¹⁸ Здравомыслие.

Рымарев. Ну что же, там, где здравомыслящие кончают, мечтатели начинают.

Зарянский. Ну а общество, а больные? Они ведь, естественно, ко мне пойдут, потому я лечу, а ты только обещаешь. В медицине ругать опасно, обещать ещё опаснее. А ты поносишь и сулишь одновременно.

Рымарев. Вы, врачи, достигнутое ставите выше того, за что мы бьемся. Мы, натуралисты, будем мучить природу, требовать от нее ответа.

Гартштейн. Мы должны быть лучшими друзьями человечества.

Черныш. Есть друзья малые и друзья великие. Малый друг накладывает пластыри. Великий друг действует более решительно.

Зарянский. Одним словом, «в белом венчике из роз впереди Иисус Христос», халат белый, в руке скальпель, заgrimирован под Рымарева.

Гартштейн. Дмитрий Владимирович, неужели вы думаете, что мы откажемся присоединить к тому, что достигнуто в нашей науке, и то, что вам удастся выпытать у природы?

Рымарев. Вы, конечно, присоединили бы наше новое к вашему старому, как одно из очередных открытий. Дело, однако, обстоит иначе — надо сломать старое и заменить его новым. Время для революции в медицине настало.

Волгунцева (*напряженно смотря на Рымарева*). Замечательно.

Зарянский. Никакая революция в науке невозможна.

Гартштейн. В науке можно продвигаться только на миллиметр в столетие.

Черныш (*встает, звонит*). Товарищи, на повестке сегодня один вопрос — реорганизация нашего института в Институт здорового человека.

Занавес.

Картина третья.

Лаборатория Рымарева. Обстановка первой картины. Шелепов рассматривает на свет содержимое пробирки.¹⁹ Входят Зарянский и Гартштейн.

Зарянский. Привет профессору Шелепову. Директор не заходил к вам?

¹⁷ См. в ИОП: «Скептики могут сделать поспешные выводы: — Шарлатан. Фокусник» (ЛНС, с 149).

¹⁸ «Жизнь коротка, искусство долго, опыт обманчив, суждение затруднительно» (лат.)

¹⁹ Правка чернилами: «Картина третья». Слово «третья» вписано поверх нечитаемого печатного слова. «Обстановка первой картины» вписано чернилами. До слов «Шелепов рассматривает на свет содержимое пробирки» вычеркнуто четыре строки текста.

Шелепов (кланяясь). Нет. (Пауза.) Александр Константинович, не слышали, как дела у Евладова?

Зарянский. Дела плохие. (Повертывается к выходу.)

Гартштейн. Вы уверены в правильности диагноза?

Зарянский. Икону не сниму. Посмотрим, как публика примет. Сегодня последний консилиум, и дня через два операция. (Около дверей говорит тихо.) Академик Евладов все-таки помог нам.

Гартштейн (живо). Он выступил против Рымарева?

Зарянский (смеясь). Нарком — между нами, по моему совету — предложил Рымареву выступить против болезни Евладова.

Гартштейн. Раз Рымарев не постеснялся заявить в печати, хотя бы устами своей помощницы Волгунцевой, что он может лечить чуть ли не все болезни, то он должен держать ответ делом. Ну, и что же он ответил наркому?

Зарянский (зло). Естественно отказался, так как лечить он, видите ли, пока не умеет.

Оба выходят. Входит Волгунцева, неся на доске труп кошки.

Волгунцева. Милый Алексей Александрович, опыт удался на все сто. (Кладет труп на стол.) Вот вам труп отныне знаменитой кошки. Мы с Волковым можем гордиться.

Шелепов. Вы с Волковым?

Волгунцева. Ну да. (Кричит.) Волков!

Волков осторожно заглядывает в кабинет.

Волков. Профессор Рымарев...

Волгунцева. Не волнуйтесь, не пришел.

Шелепов (склоняясь над трупом кошки). Товарищ Волков, насколько мне известно, вы работаете у профессора Гартштейна?

Волков. У него.

Волгунцева. Алексей Александрович, опыт сделан на основании данных, добытых коллективной... коллективным заимствованием. Мною взяты последние расчеты у Рымарева, Волковым — у Гартштейна.

Шелепов (выпрямляясь). Опыт действительно удался. Молодцы, ребята.

Волгунцева (хлопает в ладоши, кричит). Подчасов!

Входит Подчасов.

Подчасов. Чего изволите?

Волгунцева (хватает его за руку, потом Шелепова). Танец диких. Обязательно танец диких. Волков, берите за руки Шелепова и Подчасова.

Волков берет, образуется круг. Волгунцева запевает на мотив
«Шли девицы в лес гулять».

Законопатили, законопатили...

Все скажут, поют.

...законопатили, законопатили, законопатили.

Общий хохот. Круг распадается. Входит Ч е р н ы х.

Ч е р н ы х. Что за шум, товарищи?

П о д ч а с о в выходит.

В о л г у н ц е в а (*хватает за руки Черных*). Опыт Волгунцевой —
Волкова...

Ч е р н ы х. Вышло?

Волгунцева кивает головой, смеется.²⁰ Входит Б е л о в а.

Б е л о в а (*в дверях обернувшись назад, кричит*). Профессор Гартштейн, профессор Зарянский, товарищ Краснов, директор здесь! (*Подходит к столу.*) Зарезали одну дохлую кошку — и столько беспокойства. (*Все мрачнеют.*) Иннокентий Николаевич, могу вас поздравить — комиссия советского контроля постановила обследовать ваш институт.

Ч е р н ы х. Знаю.

Б е л о в а. Можно сказать, достукались. А все из-за вашего рыжего Рымарева²¹.

В дверях З а р я н с к и й и К р а с н о в. Входят, за ними Г а р т ш т е й н.

З а р я н с к и й (*тянет за руку Краснова*). Нет-нет, товарищ Краснов... Вы представитель партийной общественности... Вам необходимо...

Г а р т ш т е й н (*к Черных*). Мы ищем вас, Иннокентий Николаевич, по всему институту. У нас к вам два дела.

Ч е р н ы х. Слушаю.

Г а р т ш т е й н. Дело первое — из ряда клиник с мест поступили тревожные сведения. Оказывается, метод лечения Рымарева в лучшем случае не дает никакого эффекта, в худшем — приводит к гибели больного.

Ч е р н ы х. Рымарев не может нести ответственности за всех вульгаризаторов его идей. Никаких методов лечения он сам пока не предлагал.

²⁰ Предложение вписано от руки. Ниже вычеркнута строка.

²¹ Характерная деталь, указывающая на контекст пьесы: прозвище героя рассказа В. Зазубрина «Бледная правда» (1923) Аверьянова, боровшегося с хищениями на складе и осужденного к расстрелу, — «рыжая тигра» — говорит о его рыжести. Возможная семантика фамилии «Рымарев» также указывает на это.

Б е л о в а. Надеюсь, что никто не сможет освободить Рымарева от ответственности за его работу в его же лаборатории. Невозможно терпеть его партизанщину.

К р а с н о в. Присоединяюсь к Софье Семеновне и со всей партийной откровенностью заявляю — Рымарев классовый враг.

Ч е р н ы х. Я никогда, товарищ Краснов, не переоценивал твоих умственных способностей.

К р а с н о в. Может быть, я не всегда все понимаю, сам знаешь, я из низов пришел к науке. Однако мое партизанское сердце работает как самый точнейший марксометр. Мне только раз взглянуть на человека — и сердце скажет, есть в нем марксистско-ленинско-сталинский дух или одна контрреволюция.

Ч е р н ы х. Марксометр твой, вижу, прибор незаменимый для определения умственных способностей его изобретателя.

К р а с н о в. С точностью до одной тысячной определил — Рымарев чужак и очковтиратель. Погляди, сколько у него в лаборатории скопилось «бывших» людей.

Ч е р н ы х. Ладно, поговорим на партсобрании.

Г а р т ш т е й н. Мы вправе требовать у Рымарева ответа.

Б е л о в а. Не одни мы. Комиссия советского контроля...

Г а р т ш т е й н. Дело второе (*вытаскивает из кармана газету*) — Рымарев, не получив признания в среде ученых, решил обратиться к широкой публике, занялся саморекламой. (*Подает газету Черных.*) Полюбуйтесь. Он все может. Лечит почти от всех болезней.

Черных разворачивает газету. Волгунцева заглядывает в нее через его плечо.

В о л г у н ц е в а. Тут напечатано: «Беседа с помощником Рымарева профессором Волгунцевым».

З а р я н с к и й. Простая опечатка. Ясно, что это беседа с вами, с Волгунцевой.

В о л г у н ц е в а. Ни с кем никогда не беседовала.

З а р я н с к и й. Излишняя скромность. Ну, признавайтесь, не утерпели и по молодости лет нахвастали?

В о л г у н ц е в а. Понятия не имею.

Ч е р н ы х. Заметка, несомненно, инспирирована врагами Рымарева.

Г а р т ш т е й н. Все виноваты. Один Рымарев прав.

К р а с н о в. Не могу понять, как можно забраковать все, что люди за сотни лет надумали и написали?

Ч е р н ы х. Ты, Краснов, еще раб и на науку смотришь как на религию. Запомни, свобода — это прежде всего бесстрашие. Рымарев не боится разрушать.

Г а р т ш т е й н (*резко*). Да знаете ли вы, что он предлагает?

Ч е р н ы х. Знаю.

Г а р т ш т е й н. Страшусь назвать вещи их именами.

З а р я н с к и й. Рымаревщина — вредительство.
Ч е р н ы х. Вздор.
З а р я н с к и й. Иннокентий Николаевич, где ваша бдительность?
Вас обманывают.
Ч е р н ы х (иронически). Возможно.²²

В дверях Р ы м а р е в.

(Тихо и торопливо.) Товарищи, никто ни слова Рымареву об этой дикой газетной заметке.

З а р я н с к и й. Не признаю никакой тайной дипломатии.

Р ы м а р е в (подходит к Волкову и Волгунцевой). Вы опять здесь, гражданин Волков. Опять таинственные разговоры с Волгунцевой?

В о л к о в. У меня... товарищеские отношения с товарищем Волгунцевой.

Р ы м а р е в. Найдите для своих товарищеских отношений более удобное место.

В о л к о в быстро выходит.

В о л г у н ц е в а (волнуясь). Дмитрий Владимирович...

Р ы м а р е в (к Черных). Иннокентий, у меня в лаборатории ненормальная обстановка. Постоянно посторонние люди. Волков стал прямо завсегдатаем. Белова оспаривает мои установки, не понимая их нисколько. Отказывается выполнять мои распоряжения сама и подбивает к тому других. Моими сотрудниками делаются неизвестные мне работы. Одним словом, происходит разбазаривание наших идей. Всем своим сотрудникам заявляю — aut Caesar aut nihil²³. Белову, Волгунцеву и еще Краснова прошу от моего отдела отчислить.

Ч е р н ы х. Очередная вспышка настроений эпохи позднего феодализма.

К р а с н о в (тихо). Видали, заносится — цезарем себя воображает. Мы, бывало, в тайге этим цезарям... (Стучает себя по затылку.)

Г а р т ш т е й н (гордо). Вы воображаете, что Волков для меня заимствует ваши идеи?

Ч е р н ы х. Никаких Моцартов и Сальери. Сюжетец этот в нашей стране отменен навсегда.

Г а р т ш т е й н. У меня своя голова на плечах.

Б е л о в а. Все это гениальничанье приведет Рымарева к тому, что он на брюхе приползет к Гартштейну и начнет у него учиться работать настоящими научными методами.

Волгунцева иронически насвистывает.

²² Далее следует значительная купюра: чернилами перечеркнуто четырнадцать строк текста — диалога Черных и Гартштейна.

²³ «Или Цезарь, или ничто» (лат.).



Вам в лаборатории, действительно, больше нечего делать, как только свистеть.

В о л г у н ц е в а (*подражая голосу Беловой*). Кондуктор, кондуктор, вагон для некурящих, а она поет.

Рымарев отходит в сторону. Волгунцева за ним, хватая его за руку.

Р ы м а р е в (*зло*). Отойдите.

В о л г у н ц е в а (*с болью*). Дмитрий Владимирович, вас все любят.

Р ы м а р е в (*усмехаясь*). Не знал, извините.

Б е л о в а. Можно ли уважать вас, когда вы мечетесь от одной темы к другой, ни одной не разрабатывая до конца? А вот некий врач, вы его знаете, подобрал у нас на свалке брошенную работу, сделал ее и получил премию.

Р ы м а р е в. Все это мелочи.

Б е л о в а. Хорошая премия не мелочь.

Р ы м а р е в. Если мне удастся схватиться за основной рычаг, то все отдельные открытия, о которых вы говорите, посыплются как бесплатные приложения...²⁴ (*Задумывается.*) Мне скучно.

Р ы м а р е в выходит.

Г а р т ш т е й н. Хорошо ему мудрить над кроликами. Хотел бы я знать, что останется от его теорий при проверке на человеческом материале?

З а р я н с к и й. Вы думаете, он церемонится с людьми? Для него они просто кролики. Он орудует как Пфальцский Аноним.

Ч е р н ы х. Вы с ума сошли.

З а р я н с к и й. В руках суда скоро будут неопровержимые доказательства.

Ч е р н ы х. Александр Константинович, такими вещами не шутят.

З а р я н с к и й (*ударяя себя кулаком в грудь*). С полным сознанием ответственности заявляю — Рымарев не выдвинул ни одной новой идеи. Прежде чем учить Европу, надо поучиться у Европы.

Р ы м а р е в быстро возвращается.

Г а р т ш т е й н. Мы европейцы, и наш путь — путь Европы.

Р ы м а р е в (*с горечью*). Европа...²⁵ Медицина Вирхова, Пастера, Эрлиха...

Г а р т ш т е й н. Прошу не издеваться над великими творцами нашей науки.

З а р я н с к и й. До Рымарева, естественно, не было настоящих ученых. Он никого не слушает.

²⁴ Ср. в ИОП слова А. Сперанского: «...если я схвачу главный рычаг, то вы понимаете, дружок, что все эти отдельные достижения, разные сыпняки, сепсисы, сифилисы посыплются, как бесплатные приложения» (ЛНС, с. 150).

²⁵ Далее вычеркнуто пять строк. Эрлих П. (1854—1915) — немецкий врач, иммунолог, бактериолог, химик.

Рымарев. Всех слушаю и никому на слово не верю. Я двигаюсь вперед недоверием, и прежде всего — недоверием к себе.

Зарянский. Насколько мне известно, вы в своей красоте очень уверены.

Рымарев. Не имею чести принадлежать к той породе ученых, которые думают, что наука у них в кармане. Сунул руку в карман, справился и пошел дальше.

Зарянский. Насчет пустоты ваших научных карманов почти ни у кого нет сомнений.

Рымарев. Собственно говоря, зачем вы все, уважаемые граждане, скопились в столь большом числе в моей лаборатории?

Гартштейн.²⁶ Ни один серьезный ученый не сможет теперь простить вам вашей дешевой и опасной саморекламы. Пошли, Александр Константинович, Софья Семеновна, товарищ Краснов.

Все идут к двери.

Черных. Краснова прошу остаться.

Рымарев. В чем дело, Иннокентий? *(Пожимает плечами.)*

Черных. Иди пока к себе наверх. Подробности письмом.

Рымарев опять пожимает плечами, поднимается в кабинет,
садится, берет газету.

Шелепов. Все клянутся в любви к науке, в преданности самым высоким идеалам человеколюбия — и готовы перегрызть друг другу горло. Друг друга не читают, судят понаслышке, из третьих рук, а приговоры выносят самые беспощадные. Все держатся как владетельные князья или наместники Господа Бога на земле! Один от малого ума, другой от большого с одинаковым упорством мнят себя средоточием вселенной. Плигин, например, считает личным оскорблением, если молодой ученый в своей работе не сошлется на какой-нибудь его труд. Старик убежден, что он предвосхитил до скончания века все пути развития медицины. *(Берет из подставки пробирки, рассматривает их на свет.)*

Волгунцева садится за стол, пишет.

Зависть, подсиживание, склоки, ругань, как на площади. Ну, Рымареву простительно, он действительно большой человек, а другие?..

Черных. Человеческое, слишком человеческое, Алексей Александрович. Меня самого иногда съедает самая подлая зависть.

Волгунцева *(иронически)*. Все понять — все простить.

Черных. Никогда ни себе, ни другому не прошу собственнического свинства. Мы создаем Институт здорового человека не для того, чтобы ученые заперлись в лабораториях, как враждующие феодалы, и прятали

²⁶ Далее на л. 23 (АП) вычеркнуты три строки из реплики Гартштейна, ниже — пять строк из реплики Шелепова и восемь строк из монолога Черных.

бы друг от друга свои темы и методы. Никаких засекреченных методов и тем. Никаких тайных открытий. Все, что сделано одним, — достояние всех. Наука только выиграет, если мы сломаем последние остатки цеховщины... Товарищи, ваша победа над так называемой дохлой кошкой...

В о л г у н ц е в а. Над знаменитой кошкой.

Ч е р н ы х. ...убеждает в правильности намеченного нами пути. Волгунцева у Рымарева, а Волков у Гартштейна и впредь должны брать последние данные о работе. Генералы от науки воюют. Солдаты братаются. Мы докажем, что война — бессмыслица.

Шелепов и Волгунцева аплодируют.

К р а с н о в. Вроде все правильно, а я не согласен. Рымарева надо выгнать.

Ч е р н ы х. Рымарев — настоящий ученый, и то, что вы считаете метанием и перескакиванием, на самом деле есть проявление величайшей прозорливости.

К р а с н о в. Ваша беседа с нами имеет, конечно, определенное политическое значение. В общем и целом вы говорили в духе указаний нашей партии, а в частности я считаю, что Рымарев не наш.

Ч е р н ы х. Надо понять, что враги Рымарева неправы, несмотря на всю их правоту.

К р а с н о в. Мудрено — неправы, хотя и правы.

Ч е р н ы х. Нам надо разрешить извечную тяжбу традиции и критики...

К р а с н о в. Мы разрешим ее после работы комиссии советского контроля, в комиссии партийного контроля.

Ч е р н ы х. Мелко ты плаваешь, Краснов... А жаль.

Рымарев вскакивает, садится, снова вскакивает, хватает газету
и быстро спускается по лестнице.

Р ы м а р е в. Иннокентий Николаевич, ты должен немедленно убрать ее из моей лаборатории.

Ч е р н ы х. Кого?

Р ы м а р е в. Волгунцеву. Она дала интервью в «Вечерку», которое можно назвать только одним словом — провокация.

Ч е р н ы х. Интервью профессора Волгунцева, а не Волгунцевой.

Р ы м а р е в (*раздраженно*). Это опечатка. Это она... Мне теперь нельзя нигде показаться. Надо мной будет смеяться любой мальчишка. (*Читает.*) «Профессор Рымарев открыл способ лечения болезней, считавшихся неизлечимыми. Нам непонятно, почему Рымарев держит все это в тайне, почему он не лечит». (*Рвет и топчет газету.*) Большую подлость трудно себе представить...

В о л г у н ц е в а. Никаких интервью я никому не давала.

Р ы м а р е в (*растерянно*). Ничего не понимаю.

Черных. Дело простое — заметка инспирирована твоими врагами.
 Шелепов. Успокойся, Дмитрий. Пренебреги.

Рымарев садится на табурет, роняет на стол голову.

Черных (*глядит Рымарева по голове*). Дурной, расสวิрепел — своих от чужих не отличает.

Шелепов поет сначала один, потом ему подтягивают остальные,
 подражая слепцам, идущим на богомолье.

Шелепов.

Люди вы умные,
 умные разумные,
 книгами начитанные,
 над нами поставленные,
 вы скажите нам,
 что есть три?

Рымарев (*поднимает голову, улыбается*). Самореклама. Волгунцева, конечно, не могла наговорить столько вздора. Простите меня, Валентина Алексеевна, что я позволил себе заподозрить вас в таком неумном деле. Алексей Александрович, позови сюда всех свободных сотрудников. Хочу поговорить со своими начистоту.

Шелепов (*открывая дверь, кричит*). Товарищи, все, кто может, к заведующему отделом.

В лабораторию входят несколько женщин и мужчин
 разного возраста.

Рымарев. Товарищи, наша лаборатория подвергается нападкам. Известно, что и в среде сотрудников института не все разделяют наши взгляды.²⁷

Входит Подчасов.

Подчасов. Дмитрий Владимирович, за воротами народ. Очень шумят. Требуют пропуска в нашу лабораторию и чтобы вы их непременно лечили.

Рымарев. Скажи им, что здесь не больница.

Подчасов. Уговаривал и упрекал, твердят одно: в газете написано. (*Разводит руками.*)

Подчасов уходит.

Рымарев. Мне необходимо сказать вам, что всякий, кто не согласен с нами, может считать себя свободным. (*Резко.*) Мне нужны сотрудники, которые пойдут со мной до конца.

²⁷ Далее из монолога Рымарева вычеркнуто двенадцать строк.

П о д ч а с о в (*за сценой*). Гражданка, тут не больница, тут собак научно изучают.

Дверь в лабораторию распаивается. В нее задом пятится П о д ч а с о в, безуспешно пытаюсь задержать Ж у р н а л и с т к у.

Ж у р н а л и с т к а (*в дверях*). У меня пропуск. Я от газеты. (*Входит.*) Профессор Рымарев, мне двадцать пять лет. Я журналистка. Вы не можете отказаться лечить меня.

Р ы м а р е в. Можно вылечить водовоза и зарезать римского цезаря.

Все, кроме Черных, Волгунцевой и Шелепова, выходят.

Ж у р н а л и с т к а. Спасите меня и тех за воротами... Мы молоды. Мы построили много прекрасных городов, фабрик, заводов. Мы, точно птицы, летаем по воздуху. Уничтожьте последнюю несправедливость — обуздайте жестокость природы... Смерть в двадцать пять лет — нелепость.

Р ы м а р е в. Я не лечу²⁸. Я ищу.

За окнами шум. Шелепов открывает форточку. Слышны отдельные выкрики: «Он вредитель! Он скрывает достижения! В газете написано! Лечите нас!»

Ж у р н а л и с т к а. Разве не вам сказано: «Экспериментируйте смелее»?

Р ы м а р е в. Смелость должна сочетаться с точным расчетом. Вы приходите к земледельцу, когда на полях его появились только первые всходы. Истина проста — хлеб не созрел.

Ж у р н а л и с т к а. Профессор Рымарев, вы трус!

За воротами крики становятся громче, враждебнее.

Занавес.

Действие второе

Картина четвертая²⁹

Две комнаты — спальня и кабинет Евладова. Е в л а д о в в халате лежит на постели. Ф е л ь д ш е р оправляет одеяло. З а р я н с к и й и П л и г и н стоят. Дверь из спальни в кабинет открыта.

П л и г и н (*горячась*). Позвольте, Михаил Михайлович, давно известно, что русские — народ ленивый...

Е в л а д о в (*зло*). Ленивые, а одну шестую часть света захватили, и в какой срок. (*Морщится.*)

²⁸ Ср. в ИОП слова А. Сперанского: «Может быть, это кажется вам странным, но я не могу лечить. Все мои так называемые достижения для меня пока — только отходы производства» (ЛНС, с. 150).

²⁹ Вписано чернилами «третья» поверх печатного слова.

Ф е л ь д ш е р. Виноват, Михаил Михайлович, кажется, сделал вам больно?

Е в л а д о в. Ничего, у меня швы зажили.

З а р я н с к и й. Будем надеяться, Михаил Михайлович, что *vis medicatrix naturae*³⁰ одержит верх над вашей болезнью.

Е в л а д о в. Латынь у врачей часто лишь для того, чтобы красивее солгать.

Ф е л ь д ш е р. Латынь существует для того, чтобы отличить настоящего врача от выскочки. *Dixi et anum levavi*.

Е в л а д о в. Не *anum*, а *animam*³¹.

Ф е л ь д ш е р. Слова очень похожие.

Е в л а д о в (*усмехаясь*). Пожалуй, вы и правы.

П л и г и н. Михаил Михайлович, не кощунствуйте. Оставьте нам имя свое неопороченным. Мы понесем его как знамя. Мы скажем всем — вот был человек, который не примирился, не признал...

Е в л а д о в. Надоели вы мне, чтец-декламатор. Замолчите. Право на эксперимент я признаю за каждым, признаю и за ними...

Входит Е в л а д о в а, садится около мужа. Он берет ее за руку и молча держит. Зарянский и Плигин выходят в кабинет.

З а р я н с к и й. Совсем старик из ума выжил. Впрочем, умрет — все в наших руках будет.

П л и г и н. Место Евладова принадлежит мне по праву, как лучшему его помощнику.

З а р я н с к и й. Не будем спорить о деталях. У нас с вами есть дела покрупнее. Не так страшен черт, как его малютка. Малютка-то, натурально, будет претендовать теперь на первое место в науке.

В кабинет входит Журналистка.

Ж у р н а л и с т к а. Мне нужно знать правду о состоянии здоровья академика Евладова. Редакцией получено от вас сообщение, что наука не складывает оружия?

З а р я н с к и й. Надо несколько... м-м-м... уточнить для печати сегодняшнее сообщение.

Журналистка подает ему корректурный оттиск.

(Читает.) ...Академик Евладов... положение серьезное... наука не складывает... м-м-м... Науку вы оставьте, а дальше зачеркните... м-м-м... напишите — наука оказалась бессильной.

Ж у р н а л и с т к а (*с тревогой*). Скоро, значит, конец?

Зарянский кивает головой.

³⁰ «Целебная сила природы» (лат.).

³¹ *Dixi et animam levavi*. — «Я сказал и облегчил свою душу (успокоил свою совесть)» (лат.).



Плигин (*напыщенно*). In morte limine.

Журналистка. Morte?

Плигин. Morte — ablativus³² от mors, что значит «смерть». А вся фраза переводится: «во владениях смерти».

Журналистка (*волнуется, кашляет*). Ужасно. Неужели вы не можете сохранить ему жизнь?

Зарянский разводит руками.

Мне, значит, тоже надеяться нельзя? (*Кашляет, задыхается.*) Жить.

Зарянский (*мягко*). Приходите к профессору Зарянскому, он вас вылечит, и... торопитесь в редакцию.

Журналистка. Надежда, значит, еще не потеряна?

Зарянский. Вы выглядите отлично.

Журналистка подает руку Зарянскому,
кланяется Плигину и торопливо уходит.

Глаза восторженные. На науку готова молиться, а жить осталось считанные денечки.

Входят Черных с Рымаревым.

Черных. Ну и что же?

Рымарев. Ничего, взяли мое заявление, сказали, что разберут. В газету тоже послал опровержение.

Зарянский (*показывая на Евладова*). Лечи. Вылечишь — уверую.

Рымарев. Умиравших лечить пока не умею.

Рымарев и Черных проходят в спальню.

Зарянский и Плигин читают газеты.

Черных. Ну, как самочувствие, Михаил Михайлович?

Евладов. Могу только повторить слова Петра: «Через меня познайте, какое бедное животное есть человек». (*Жене.*) Татьяна Фомина, скажи Дуне, чтобы подала мне таз с холодной водой.

Евладова. Михаил Михайлович, зачем тебе вода? Простудишься.

Евладов. Смешно в моем положении говорить о простуде.

Евладова уходит.

Черных (*берет Рымарева под руку, отводит в сторону*). Я тебе, Дмитрий, еще не рассказывал, как старик крепко держался на операции. Оперировали под местным наркозом...

Евладова возвращается, с ней Дуня с тазом воды.

³² Падеж в латинском языке.

Е в л а д о в. На стул поставь, к самой кровати.

Дуня ставит — Евладов засучивает правый рукав и начинает плескаться в тазу.
Все смотрят на него с недоумением. Евладов улыбается.

Вы, господа, наверно, думаете, что старик спятил с ума.

Д у н я уходит.

Ч е р н ы х. Вскрыли ему брюшную полость, он спрашивает Волгунцеву с Волковым: «Ну, что вы видите?» Те молчат, переглядываются. Он рассердился. «Прошу без умолчаний. Опухоль есть? Есть. Куда растет? В сторону печени растет? Да. Проросла печень? Да. Хорошо, делать ничего не нужно, зашейте». Вот старик кремневый! Самообладание какое: лег на стол — пульс шестьдесят пять, сняли со стола — пульс шестьдесят пять.

Е в л а д о в. Дело простое, господа, мне нельзя скучать. Заскучать — значит умереть. Извне мне нечем пополнить свои силы, вот я и мобилизую внутренние ресурсы, вызываю радостные эмоции. С водой у меня связаны все лучшие переживания юности. Я пловец. С Татьяной Фоминичной встретился в первый раз в воде, на Волге.

Татьяна Фоминична смотрит на него и плачет. Евладов смеется, плещется.

Входит Д у н я.

Д у н я. Делегация от рабочих.

П л и г и н. Никаких делегаций. Больному вредно...

Ч е р н ы х (выходя из спальни). Наоборот, такое посещение развлечет Михаила Михайловича. Просите.

Д у н я выходит. Входит рабочая делегация.

У р а б о т н и ц ы в руках цветы.

Е в л а д о в. Я еще не умер, а вы уже с цветами.

С т а р и к р а б о ч и й. Наведаться пришли о здоровье, Михаил Михайлович.

Е в л а д о в. Скоро мне срок.

С т а р и к р а б о ч и й. Ну, может быть, еще вывернетесь, как в прошлый раз. Совсем было тогда собрались помирать и отменили.

Е в л а д о в. На этот раз... (Вздыхает.)

С т а р и к р а б о ч и й. А жизнь поворачивает баранку в лучшую сторону.

Е в л а д о в (сердито). Ценой только какой?

С т а р и к р а б о ч и й. Цену за наши дела пока никто назначить не может. Другой раз по-стариковски и закричишь, а потом люди, пожалуй, скажут — такой жизни и цены нет, а что было за нее заплачено — пустяки.

П л и г и н (входя в спальню). Прошу не утомлять больного.

Старик рабочий. Поняли мы вас. (*Оглядывается на работницу.*)

Работница. Михаил Михайлович, мне этот букет поручил преподнести вам коллектив нашего завода в ознаменование сорокалетия со дня напечатания первой вашей книги³³.

Евладов. Действительно, ведь моя первая работа была напечатана сорок лет тому назад. Не понимаю, при чем только весь ваш завод?

Работница. Мы в кружке проходим ваше учение.

Евладов (*удивленно*). Да?

Молодой рабочий (*вытаскивает из кармана небольшую брошюру, подает ее Евладову*). Программа занятий нашего кружка. Посмотрите — везде ваша фамилия.

Евладов (*перелистывает брошюру, заметно волнуется*). Ничего не понимаю.

Входит Волгунцева.

Черных. Вам, Михаил Михайлович, не пришлось бы удивляться, если бы вы читали газеты.

Евладов. Позвольте, Иннокентий Николаевич, я не читал газет, но я читал вырезки, которые мне доставлял господин Плигин.

Черных. Вероятно, он давал вам вырезки с большим разбором. Позвольте мне показать вам другие вырезки.

Евладов кивает головой. Черных обращается к Волгунцевой.

Валентина Алексеевна, вот вам ключи, сходите в мой кабинет и принесите из стола папку газетных вырезок.

Волгунцева берет ключи и уходит.

Работница. Разрешите, дорогой Михаил Михайлович, от имени всех наших кружковцев пожать вашу трудовую руку и передать вам, что у нас на заводе многие усвоили ваше учение, а кто если не изучил еще, то знает, что пищу он переваривает по Евладову, думает тоже по Евладову³⁴.

Черных и Рымарев аплодируют.

Евладов взволнованно жмет руки всей делегации.

Работница. Мы пришли пригласить вас после выздоровления приехать к нам на завод. Посмотрите, как мы работаем, и нам расскажете, что вы делаете.

Евладов (*живо*). Замечательно, черт возьми. (*Привстает на постели и сейчас же, морщась, ложится.*) Желания у меня, к сожалению, больше возможностей. (*Опускает голову.*)

³³ Один из прототипов Евладова И. Павлов напечатал свою первую работу в 1879 г., другой прототип — М. Горький — в 1892 г. (рассказ «Макар Чудра»).

³⁴ И. Павлов — автор многих работ по физиологии пищеварения и высшей нервной деятельности. Известен и его цикл лекций «Об уме вообще и русском уме в частности», прочитанный в 1918 г.

Рабочие кланяются и выходят в кабинет.

Работница (у двери). Нам надо поговорить с вами, товарищи.
У нас наказ от рабочих.

Черных. Одну минуту.

Рабочие в кабинете садятся, берут газеты.
Зарянский косится на них через очки.

Евладов. Почему вы мне, Иннокентий Николаевич, никогда не рассказывали об этом, не показали газет?

Черных (весело). Вы нашим газетам не верили, вообще ничьим газетам не верили, даже не принимали всерьез писем, которые вам писали из всех уголков страны. (Очень весело.) Вы заперлись у себя в лаборатории, Михаил Михайлович, и не хотели ничего видеть. Не заметили даже свою славу.

Волгунцева приносит толстую папку. Черных подает ее Евладову.

Евладов (перелистывает, читает, руки у него дрожат). ...Хабаровск. Доклад профессора Петрова на собрании комсостава ОКДВА³⁵ об учении академика Евладова... Алма-Ата. В животноводческих совхозах массовые опыты по методу академика Евладова... Днепропетровщина. Многие хаты-лаборатории в передовых колхозах... Мурманск... (Евладов опускает папку на колени и дрожащим голосом обращается к Плигину.) Евтихий Аристархович, почему вы мне этого не показывали?

Плигин. Полагал, что газеты врут.

Евладов (гневно). Вы, оказывается, не так глупы, как я думал.

Черных. Профессор Плигин, не раздражайте больного.

Входит Зарянский.

Рымарев. Мой дружеский совет вам, Евтихий Аристархович, и вам, Александр Константинович... (Показывает глазами на дверь.)

Плигин. Мне, преданнейшему ученику, не к лицу покидать учителя в последние его часы.

Евладов (в сторону). Хотя бы вслух не подсчитывали моих часов.

Зарянский. Мне не совсем ясно, кто хозяин в этом доме?

Евладов (слабей). Господа Зарянский и Плигин, не утомляйте меня.

Плигин (струсив). Слушаю-с.

Зарянский. Охотно, Михаил Михайлович.

Оба выходят в кабинет.

³⁵ Особая Краснознаменная Дальневосточная армия, формирование Красной армии в 1929—1938 гг.



(Зарянский, злобно.) Они могут схоронить старика, но медицины схоронить мы им не дадим.

Старик рабочий. Сурьезности какие между ученых.

Зарянский. А вы думали, в науке все друг друга любят?

Старик рабочий. У нас народ в деревне и то стал жить дружно.

Зарянский. Ученые, они, знаете ли, все больше... м-м-м... На счет колхоза у них... м-м-м...

Старик рабочий. А мы-то думали...

Евладов. Таня, забыл, запиши — в моем архиве третий шкаф, девятая папка, еще одна недоконченная работа...

Евладова садится за стол и пишет.

Волгунцева, Черных и Рымарев выходят в кабинет.

Работница. Товарищи профессора, нас послал весь наш заводской коллектив сказать вам, что мы очень обеспокоены здоровьем Михаила Михайловича Евладова. Мы вообще (мнется) должны говорить вам правду, хотя вы и ученые и больше нашего знаете.

Черных. Мы всегда должны говорить [друг] другу правду.

Работница. У нас, можно сказать, за год померли три замечательных ученых и один замечательный писатель.

Старик рабочий. Никуда не годится такое дело, товарищи доктора.

Работница. Плохо вы лечите нас, товарищи ученые.

Рымарев. Нельзя, товарищи, вешать на шею врачам то, что висит на шее у медицины.

Старик рабочий. А по-нашему, все равно, что врачи, что медицина.

Молодой рабочий. Дело, значит, человек, значит, мы и некоторые ученые, если которые с нами.³⁶

Черных. Правильно, товарищи.

Работница. Мы постановили поэтому считать ваш институт в прорыве до тех пор, пока будут у нас неизлечимые болезни.

Черных. Сильно перегнули, товарищи.

Работница. Рабочие поручили мне еще спросить вас, что вы сделали для того, чтобы защитит наш народ от фашистской военной химии?

Старик рабочий. Отравится человек, скажем, мышьяком, ему молока дадут или рвотного. Надо бы, товарищи, и против газовой горчицы сыскать противоядие.

Молодой рабочий. У нас на заводе есть рабочие, которые обыкновенно работают, и есть — которые мозгуют, как бы сделать лучше.

Черных (показывая на Зарянского и Рымарева). У нас все работают и мозгуют.

Старик рабочий. А чего они не поделили?

³⁶ Так в тексте.

Черных (*шутливо*). Дерутся — значит, еще молоды.
 Молодой рабочий. У вас какой план работы?
 Зарянский. У врача один план — лечить.

Зарянский уходит.

Старый рабочий. Лечение лечению рознь.
 Плигин (*возмущенно*). Неслыханно. Непостижимо.

Плигин уходит.

Рымарев. Мы будем лечить вас по-новому.

Старый рабочий. Наши старики никак дождаться не могут нового лечения. У нас, почитай, у каждого рубцы от старой жизни. Меня рабочие просили передать вам свою обиду. Самая что ни на есть лучшая жизнь настает, а нам срок выходит на свалку... Женщины тоже наказывали, чтобы вы уволили их от непрерывных мучений, потому [что] человек должен родиться в радости, а не в муках.

Входит Журналистка, садится в угол. Волгунцева идет к ней.

Рымарев. Искусство долголетия для каждого человека заключается в том, чтобы не укорачивать собственной жизни. В нашей стране для этого созданы все условия.

Старик рабочий. Надо все-таки еще надбавить. Мы в газете читали, будто вы это уже можете. Верно или вры³⁷?

Рымарев. Вранье.

Старик рабочий разочарованно машет рукой.

Молодой рабочий. Мы реки заворачиваем, географию ломаем, неужели здоровье у человека переделать нельзя?

Черных. Наш институт должен разрешить очень большие задачи, в том числе и задачу продления человеческой жизни.

Молодой рабочий. В какой срок у вас предполагается закончить вопрос о долголетии?

Рымарев. Нельзя так точно говорить о таких вещах, могут называть хвастуном.

Молодой рабочий (*удивленно*). По-нашему — план, по-вашему — хвастовство.

Старик рабочий. Небось, про себя-то планируешь — завтра, мол, такое удумаю — мир остолбенеет?

Рымарев (*обнимает старика*). Не место и не время разговаривать нам с вами. Мы забыли о больном.

Черных. Приходите в институт.

Рукопожатия. Рабочие уходят.

³⁷ Так в тексте.



Журналистка (*подбегает к Рымареву*). Вы будете лечить? Мне можно надеяться? Я согласна отдать себя на любой опыт.

Входят Шелепов и Волков.

Рымарев (*на ходу*). В институт, пожалуйста.

Волгунцева (*Черных*). Журналистка говорит, что интервью...

Черных (*машет рукой*). Потом.

Все идут к Евладову. Журналистка остается в кабинете, осторожно подходит к двери и заглядывает в спальню. Евладов молча кивает вошедшим, берет у жены лист бумаги, что-то зачеркивает в нем, пишет, долго читает и, наконец, отдает обратно. Черных, Шелепов, Волков, Рымарев, Волгунцева кучкой отходят в угол сцены, ближе к зрителям.

Рымарев. Никто, кроме врача, не вызывает столько надежд, радости и отчаяния. Газеты провозгласили меня чародеем, который все может. Мне теперь пишут отовсюду, требуют, чтобы я лечил все до единой болезни, от простого прыща до слабоумия. Мне не дают прохода на улице, ломятся в лабораторию, в квартиру. Люди ждут от меня великих радостей. Меня приводит в ярость сознание того, что я должен радовать и не могу. Умирает наш учитель, великий ученый, а мы смогли только придумать название его болезни, и все.

Все обертываются на покашливание Евладова и идут к нему.

Евладов. Да, господа, одной жизни человеку мало. Мне семьдесят лет, обижаться как будто нельзя, и все-таки я недоволен. Мой мозг работает неплохо, а ничтожный мешок для переваривания пищи отказался служить. Смерть отвратительна тем, что она почти всегда преждевременна.

Фельдшер. Смерть есть самая гнусная уравниловка, какую когда-либо видел мир.. Поражает не взирая на лица.

Евладов (*показывая рукой на кабинет*). Ваш разговор с рабочими. До меня долетело несколько слов. Они правы. Долголетие — вот задача нашей науки. Надо, чтобы человек был огражден от всяких случайностей. Никаких болезней. Организм должен работать бесперебойно до возможного предела и потом угаснуть легко, одновременно всеми своими частями.³⁸

Фельдшер. А я так и совсем не хочу умирать. Пять сынов — все врачи. Пять снох — все врачихи. Сам — фельдшер, любого врача за пояс заткну. Старость придет, у каждого сына по одному дню жить — вот тебе и целая пятидневка. Зачем мне, спрашивается, умирать?

³⁸ Ср. в статье В. Зазубрина «Последние дни Алексея Максимовича Горького» (1936): «Социализм, провозгласивший человеческую жизнь величайшей ценностью, приведет человечество к долголетию. Будем бороться за то, чтобы наш организм угасал постепенно и одновременно всеми своими частями» (ЛНС, с. 240).

Рымарев. Всерьез говорить о бессмертии может только фельдшер. Врачу ясно, что бессмертие — бессмыслица. Что же, остановить весь мир, весь круговорот и движение вещества? Населить землю стариками? Отказаться от потомства?

Фельдшер обиженно пожимает плечами,
собирает со стола пузырьки и выходит.

Евладов. Храбрейший фельдмаршал Суворов и тот признавался, что каждый живот смерти боится.

Рымарев. Хорошо умереть — не меньшее искусство, чем хорошо прожить. Человечеству еще много миллионов голов придется отдать, прежде чем оно станет действительно человечеством. А мы будем говорить о бессмертии. Смешно.

Черных. Людям, которым за каждый свой шаг вперед приходится платить жизнью, действительно, еще рано думать о бессмертии. Ты прав, Дмитрий. Нам сейчас нужнее всего бесстрашие.

Евладов. Природа жестока, потому что мы ее не знаем. Ее жестокость — месть за наше к ней равнодушие... Полвека я работал каждый день и вот вижу, что мир остался почти таким же, каким был в день моего рождения.

Черных. Мир стал умнее, Михаил Михайлович. Вы сами хорошо потрудились, и небезуспешно, чтобы сделать его лучше, чем он был.

Евладов. Мир накануне безумия новой войны может ли быть признан разумным?

Черных. Есть одна страна, которая отказывалась от звериного способа разрешения международных споров.

Евладов (*закрывая глаза руками, точно сдерживая слезы*). Я горжусь ей. Передайте им... ему... Впрочем, теперь это только слова...

Волгунцева. Вы всю жизнь работали, учитель, и вы вправе говорить.

Евладов. Для биолога высший идеал — разрешение загадки собственного «я» и той величественной комедии, в которой мы и зрители и действующие лица... Мне хочется поговорить с вами, молодые.

Волгунцева, Волков и Шелепов подходят к постели больного. Евладов садится на кровати, Волгунцева — рядом на стул, Волков и Шелепов — на ковер.

В одном поколении овладеть наукой — это героизм. Вы должны были преодолеть большие препятствия. Хотя меня самого наличие препятствий всегда только воодушевляло на борьбу с ними.

Черных. Вы непрерывно копали там, где никто до вас не смел этого делать.

Евладов. Не обращайтесь только науку в религию. Она, как и все дела человеческие, — несовершенна. Разве не на наших глазах рушится мир Эвклида? Всегда помните, что гипотеза, полезная утром, может ока-

заться ненужной к вечеру. Нечего огорчаться, если вы напишете десятки томов, а от вас останется одна запятая.

Черных. Все открытия Ньютона можно изложить в одной трехрублевой телеграмме. Однако человечество живет ими уже три столетия.

Евладов. Не думайте, что познание наше беспредельно. Мы, старики, знаем, что всему есть предел.

Черных. Михаил Михайлович, неужели вы хотите сказать вслед за Сократом — «знаю, что ничего не знаю»?

Евладов (*страстно*). Ну нет, я свою запятую сказал и хочу, чтобы она осталась навсегда. Всю жизнь воевал за нее одну. (*Устало.*) Митя, ты не сердись на меня? Не одного тебя — всех разогнал талантливых.

Рымарев. Нисколько не сержусь. Если бы вы меня не удалили — я сам бы ушел.

Евладов. Ну а когда смерть и встает вопрос о настоящем продолжателе твоего дела, то надо отдать предпочтение самому смелому. (*Горько.*) Не обращай мое учение в мумию. Верность и измена в науке часто понятия равнозначные. Ученик верен именно тем, что изменил учителю.

Черных. Не всегда старое — ненужная скорлупа. Чаще оно — ступень вверх. Обычно отношения учителя и ученика есть отношения командира и рядового бойца.

Рымарев. Плохо, когда рядовой во время боя не выполняет приказаний своего командира.

Евладов. Учителю на самом деле нужны послушные исполнители его воли. Многие поэтому отпочковываются. Найти помощника, который шел бы с тобой нога в ногу...

Черных. Маркс и Энгельс.

Евладов. Да, кстати, Таня, запиши и передай в лабораторию, что если опыт номер семь не удастся, то пусть попробуют номер девять.

Евладова записывает.

Дай мне еще раз взглянуть на список недоконченных работ.

Евладова подает несколько листов бумаги.

Надо проверить, правильно ли ты все записала. (*Читает. Пауза.*) Хоронить меня прошу без попов. Не надо из похорон устраивать зрелища... (*Не отрываясь от бумаги, тем же тоном.*) Мозг мой на всякий случай посмотрите, господа... Человечество сделает в конце концов мир более гостеприимным... Со мной в гроб положи мою трость и вот этот букет. (*Показывает. Отдает листы жене.*) Главное, друзья, факты, только не склады фактов. Наблюдение и снова наблюдение. (*Морщится.*) Ну-с, давайте прощаться, молодые люди.

Волков и Шелепов берут его за руки, Волгунцева садится на кровать, кладет ему голову на плечо.

Не смею больше огорчать вас меланхолическими рассуждениями... Прогоните печаль — мать бездеятельности... Займитесь жизнью...

В о л г у н ц е в а. Отец... Отец нашей науки.

Евладов медленно гладит по головам Волкова и Шелепова.
Остальные подходят ближе.

Е в л а д о в. Хорошо. (*Хрипло напевает.*) «Post molestam senectutem nos habebit humus...»³⁹ Довольно. Нельзя кончать погребальными словами. Ведь молодежь-то остается, наука остается. (*Снова гладит головы Волкова и Шелепова. Берет со стола букет и отдает его Волгунцевой.*) Живите в цветах.

Волгунцева прижимает к себе одной рукой букет, другой обнимает Евладова и целует его в висок, потом повертывается к зрителям спиной и плачет.

Митя, поцелуй и ты меня.

Рымарев порывисто обнимает его и целует.

(*Евладов обертывается к жене.*) Ну, что же сказать тебе, Таня? Скажу одно — если бы мне дали возможность еще раз прожить мою жизнь, то я бы прожил ее так, как я ее прожил.

Евладова бросается к нему на грудь. Он целует ее и отстраняет.

Прощай, Таня. (*Совершенно спокойным голосом.*) Таня, скажи Дуне, чтобы подала шампанское.

Е в л а д о в а уходит. К Евладову подходит Черных и крепко жмет ему руки.

Е в л а д о в а быстро возвращается вместе с Д у н е й. Дуня несет на подносе шампанское и бокалы.

Друзья, не будем подражать великим. Выпьем просто потому, что выпить и перед смертью приятно.

Все пьют. Евладов щупает у себя пульс.

Пульс... (*Опускает голову на грудь.*) Устал... (*Ложится.*) Оставьте меня... Картина умирания — невеселая картина. Не хочу, чтобы увидели... в маске Гиппократ⁴⁰. Ну, простимся.

Все уходят. Волгунцева, сотрясаясь от плача, прячет лицо в цветах. Рымарев оглядывается, останавливается. Евладов плещется в тазу рукой. Р ы м а р е в уходит.

В дверях Журналистка. На сцене один Евладов играет водой.

Занавес опускается медленно.

³⁹ «После горестной старости нас возьмет земля» (лат.). Из студенческого гимна «Гаудеамус».

⁴⁰ «Маска Гиппократ» — совокупность характерных изменений лица, признак тяжелого заболевания органов брюшной полости, а также истощения, хронической бессонницы или же предстоящей смерти.

Действие третье

Картина пятая

Лаборатория Рымарева. Обстановка первой картины. За окнами изредка раздаются взрывы, видны вспышки огня, слышен шум ледохода на Москве-реке. В окна временами стучат голые ветви деревьев. На сцене никого, потом входят Рымарев и Шелепов, садятся, оба утомлены.

Шелепов. Поработали сегодня подходяще.

Входит Подчасов.

Подчасов. Кролик № 1 околел.

Рымарев (*махнув рукой*). А что кролик, человек умер... академик Евладов.

Подчасов. Всякому ученому понятно, что природа есть круговращение, как бы сказать, конвейер. Родился, в люльку положат, потом вроде на своих ногах идешь, а лента тебя тащит, глядь — и запаковали в ящик.

Шелепов. Дело говоришь, Матвей Иванович.

Рымарев. Вся природа обновляется, а человек не хочет обновляться. (*Иронически.*) Высшее существо. Ведь эдак недалеко и до боженьки.

Шелепов. В последние свои минуты Михаил Михайлович Евладов приказал нам вернуться к жизни, (*с нарочитым пафосом*) которая, как известно, есть энергия, возрождение и прогресс... Давай мыть руки.

Идут к крану. Подчасов выходит.

Рымарев (*намыливая руки*). Не кажется тебе иногда, Алексей, что мы шахтеры?

Шелепов. В нашей работе много самой обыкновенной грязи. У тебя в волосах запуталась (*снимает*) кость.⁴¹

Рымарев (*вытирает об халат руки*). В кабинете перед листом бумаги я астроном, в операционной, среди подопытных животных — забойщик.

Шелепов. Подкоп⁴², действительно, ты затеял дерзкий.

Рымарев. Пусть рухнут кое-какие словесные замки. Ведь в медицине часто выход из положения ищут только в новых определениях:

...держитесь слова
 Во всем покрепче, каждый раз!
 Тогда дорога верная для вас
 В храм несомненности готова.

⁴¹ Ср. в ИОП: «В ерше мягких волос (А. Сперанского. — В. Я.) запутался кусок черепной кости собаки» (ЛНС, с. 148).

⁴² Ср. в ИОП: «Сперанский надевает очки, халат и спускается в операционную, как в шахту. Он ведет один из величайших подкопов в мире» (ЛНС, с. 151).

(*Закуривает.*) Медицина — тревожная наука. Она еще не знает, а поворачиваться обязана, потому она и родная сестра искусству. Я здоров — и отлично понимаю, что врач не все может. Я захворал — и требую лечить меня немедленно. (*Пауза.*) Медицину, конечно, вправе торопить не только тот, кто ею занимается, но и тот, кто в ней нуждается.

Шелепов. Журналистка, между прочим, легла к нам на опыт в клинику.

Рымарев (*кивает головой*). Она и те, что тогда вместе с ней шумели у наших ворот, теперь не считают меня трусом?

Шелепов. Они готовы молиться на тебя. Все надеются выздороветь. Зарянский, кстати, тоже надеется, только совсем на другое. Он в клинике прямо не отходит от дверей нашей палаты.

Рымарев. Опыт наконец поставлен на человеческом материале, следовательно, мы на линии огня, остальное — мелочи.

Шелепов. Следовательно, налицо все необходимые условия для того, чтобы нам с тобой опрокинуть мензурочки две-четыре. Устал я, Дмитрий, а впереди еще целая бессонная ночь.

Рымарев. Не возражаю.

Шелепов (*кричит*). Подчасов! Нет ли у тебя чего-нибудь закусить?

Входит Подчасов.

Подчасов. Имеется жареный кролик.

Шелепов. Дохлый?

Подчасов. Померший от эксперимента.

Шелепов. Никак не отучишь себя от дохлятины.

Подчасов. При своем мясе мне на рынке покупать не резон. К тому же обработано в автоклаве.

Рымарев. Матвей Иванович, давайте спирт.

Подчасов (*берет бутылку со спиртом и большую мензурку*). Развод нормальный?

Шелепов отрицательно трясет головой.

Чебоксарский?

Шелепов (*трясет головой*). Развод по Зарянскому. Один на один.

Подчасов. На дистиллированной воде или из водопровода? По мне, из крана вкуснее.

Шелепов. Для вкуса добавь из крана.

Подчасов разводит.

(*Шелепов берет у него посуду, стучит по ней стеклянной палочкой.*)
Реакция профессора Шелепова. Звук вначале тупой, так как выходит



воздух. Постукиванием мы определяем степень его выхода. Слышите, звук становится чище. Реакция состоялась. Можно употреблять. (*Наливает три небольших мензурки.*)

Р ы м а р е в. Матвей Иванович, принесите мне живого кролика.

Подчасов удивлен.

Да, да.

Шелепов пробует спирт. Подчасов уходит и быстро возвращается с кроликом в клетке.

На стол.

Подчасов ставит клетку на стол. Все трое пьют.

П о д ч а с о в. Ух, задириста. (*Вытирает губы полкой халата.*)

Рымарев вытаскивает кролика и треплет его за уши. Шелепов проделывает то же совершенно серьезно, потом наливает всем еще по мензурке. Все пьют. Рымарев и Шелепов снова треплют кролика за уши. Подчасов смотрит на них с недоумением, пожимает плечами.

Р ы м а р е в. Видал, Матвей Иванович, как ученые закусывают? Наука имеет много гитик.⁴³ Учись.

П о д ч а с о в (*все еще недоумевая*). Закуска очень умственная... Пойду закусить.

Ш е л е п о в. Отнеси кролика на место. (*Торопливо пьет.*)

П о д ч а с о в уносит клетку.

Мне надо еще сходить на своих кобелей взглянуть.

Р ы м а р е в. Удачный у нас сегодня день, Алексей. Дай я тебя поцелую. (*Целуются. Рымарев трет губы.*) Усы у тебя ежовые.

Ш е л е п о в. Сейчас вам будет предоставлена более нежная поверхность. (*Кричит.*) Товарищ Волгунцева, к заведующему отделом!

В о л г у н ц е в а (*из другой комнаты*). Одну минуточку!

Ш е л е п о в. Между прочим, я или она сегодня на дежурстве в клинике?

Р ы м а р е в (*вздрагивает*). Алеша, ты понимаешь, она осталась у меня в отделе. Не могу, по своей мягкотелости, выгнать.

Ш е л е п о в (*грозит ему пальцем*). Волгунцеву гнать из-за каких-то вздорных подозрений нельзя — раз, влюблен ты в нее по уши — два.

Р ы м а р е в (*смуценно*). Она любит Волкова.

Ш е л е п о в. Она любит Рымарева и никого больше. Отвечай наконец, кто идет в клинику?

⁴³ «Наука имеет (правильнее: «умеет») много гитик». Крылатая фраза, поговорка, изначально предназначенная для демонстрации карточного фокуса. Смысл: науке известно очень многое. Или, иронич.: о чем-то совершенно непонятном, мудреном.

Р ы м а р е в. Она... остается в лаборатории.

Ш е л е п о в выходит, входит В о л г у н ц е в а.

Сегодня предстоит очень трудная ночь. (*Неуверенно.*) Одному из вас, то есть Шелепову или вам, надо быть в клинике, и одному — в лаборатории.

В о л г у н ц е в а. Понимаю.

Р ы м а р е в (*напряженно*). Вы понимаете, вы... остаетесь?

В о л г у н ц е в а (*напряженно*). Мне... остаться.

Р ы м а р е в (*скрывая под грубостью смущение*). Вы оставили ваши заговоры с Волковым?

В о л г у н ц е в а. Заговор наш с добрыми намерениями.

Р ы м а р е в (*нервно смеется*). Вы никого не видите, кроме Волкова?

В о л г у н ц е в а. Вижу и скажу прямо — нет, Дмитрий Владимирович. Мне надо одной...

Входит К р а с н о в. В о л г у н ц е в а поспешно выходит.

К р а с н о в. Ваши установки меня не удовлетворяют.

Р ы м а р е в (*горячась*). Всем, кто со мной не согласен, предлагается в двадцать четыре секунды оставить мою лабораторию.

К р а с н о в. Мне партия поручила бороться в науке...

Р ы м а р е в. Вы должны учиться, а не командовать. (*Кричит.*) Требую беспрекословного исполнения всех моих распоряжений!

К р а с н о в. У нас разбегаются сотрудники. Никто не хочет отвечать за ваш...

Р ы м а р е в. Молчать!

К р а с н о в уходит, входит Ш е л е п о в.

Ш е л е п о в. Не понимаю, как мог ты, врач, физиолог, так вульгарно влюбиться?

Р ы м а р е в. Она сказала — нет.

Ш е л е п о в. Разве женщина сразу скажет тебе — да? Обычная мировая канитель. Тьфу. (*Пауза.*) А с Красновым ты напрасно так грубо. Парень проста все рубит.

Р ы м а р е в. Суворов тоже был груб. Не думай только, что я ему подражаю. Узнал об этом недавно.

Ш е л е п о в. Все-таки тебе, фельдмаршал Рымарев, лестно встать в позу и запеть петухом.

Р ы м а р е в. Ну, спорь со мной, скажи, в чем я не прав?

Ш е л е п о в. Не следует тебе подражать худшим сторонам характера Евладова. Печальный урок. Старик оказался совершенно одиноким.

Р ы м а р е в. Неужели я похож на него? Одиночество? Не хочу. Мне нужны думающие товарищи. Ненавижу попугаев.

Ш е л е п о в. Ну, пошел в клинику. Буду тебе, фельдмаршал, с поля сражения доносить по телефону.

Р ы м а р е в. Алексей, подожди. Тебе известно, что опыт ставится над умирающим?

Ш е л е п о в (*возвращаясь*). Дело ясное — больного, который может поправиться, нам не дадут.

Входит Ч е р н ы х.

Ч е р н ы х. Увидел в раздевалке твои отпадающие оболочки и решил заглянуть. Тебя, Дмитрий, можно поздравить, опыт поставлен наконец на человеческом материале.

Р ы м а р е в. Материал плохой — умирающие.

Ч е р н ы х. Где взять здоровых? Любо́й гражданин, очутившись на положении кролика, в восторге не будет. Значит, бери что дают.

Ш е л е п о в. Ухожу.

Ш е л е п о в уходит.

Р ы м а р е в. Почему командир Красной Армии может безнаказанно потерять в бою, скажем, десять человек, а я не могу ни одного?

Ч е р н ы х. Командир борется за признанное. Где у общества гарантия, что ты действительно... Общество вправе быть недоверчивым. Людям надо дать простое и понятное. Лазарь, встань, и чтобы Лазарь непременно встал.

Р ы м а р е в. Дайте мне Лазаря.

Ч е р н ы х. Тебе дали, и не одного... Зарянский и Гартштейн сильны именно тем, что лечат.

Р ы м а р е в. Ты, кажется, готов оправдать все их вылазки?

Ч е р н ы х. Не собираюсь. Надо только понять, что они опираются на здоровый консерватизм общества. Фельдшер, вылечивший насморк, естественно, скорее тебя получит признание.

Р ы м а р е в. Ты всегда точно в мундире и при исполнении служебных обязанностей.

Ч е р н ы х (*гневно*). Я заставляю тебя всегда помнить, что мой долг — исполнение человеческих обязанностей, иначе нам с тобой пришлось бы вцепиться друг другу в горло. Ведь завидую я тебе не менее, чем Гартштейн, и Волгунцеву люблю не менее, чем ты ее любишь... Дурной.

Ч е р н ы х уходит, хлопнув дверью.

Р ы м а р е в (*растерянно*). Кеша...

Входит Подчасов.

Подчасов. Дмитрий Владимирович, кошка № 45, которую особенно наказывали беречь, держит хвост трубой.

Рымарев (*оправляясь от смущения*). Значит?..

Подчасов. У меня хвост — первая примета. Выживет.

Подчасов выходит. Несколько сотрудников входят.

Сотрудники (*нестройным хором*). Не можем больше работать... Не разделяем ваших взглядов... Не хотим нести ответственности...

Рымарев (*презрительно*). Вы свободны. (*Наступает на сотрудников.*) Дезертиры! Труссы!

Сотрудники пятятся к двери и уходят.

(*Рымарев один, тяжело дышит.*) Не лаборатория, а помещение для митингов. Все машут руками. (*Мечется, бормочет.*) Ну а если мои расчеты окажутся не точными и утопающих спасти мне будет не по силам?..

Входит Волгунцева.

Валентина Алексеевна, а если неудача?

Волгунцева. Мы разрушили много вражеских крепостей, Дмитрий Владимирович, нам не к лицу стоять со скрещенными на груди руками и любоваться видом дымящихся развалин. Мы должны наступать. Неудача? (*Задумывается.*) Ну?

Рымарев (*бормочет, не слушая Волгунцеву*). Иногда кажется, выбрался на дорогу — цель близка, и вдруг начинаешь понимать — проселок, бездорожье. Мечешься, бросаешь одну тропу, другую, продираешься целиной...

Волгунцева перебирает склянки на столе. Пауза. За сценой порыв ветра валит дерево. Дерево обрывает провод. Свет тухнет.

Волгунцева. Не спилили вовремя. Оно совсем сгнило. Оборвало провод.

Рымарев (*кричит*). Подчасов, свечи!

За сценой слышны взрывы.

Рвут лед. Шум падающего дерева и эти взрывы на реке. Темнота. Мне вспомнилась землянка в окопах.

Подчасов приносит две свечи и уходит. Волгунцева смешивает и разливает медикаменты. Рымарев закуривает от свечи.

Образ войны не покидает меня с тех пор, как через мои руки прошли тысячи раненых на германском фронте и тысячи на гражданских. Всю жизнь передо мною корчатся больные.⁴⁴

Лампочки загораются. Волгунцева тушит свечи.

Для уничтожения человека сделано очень много. Можно вымаривать целые города. А вот хотя бы на одной улице сделать людей здоровыми не умеем.

Звонок.

(Рымарев идет наверх, берет трубку.) Слушаю. Я... Так... *(Кладет трубку, переносит телефон вниз.)* Один больной умер. *(Трет виски.)* Собачка подняла ногу, оставила на стене пятно. Изучай, пока солнце его не высушило. Медицина не археология. Успевай, торопись. У нас всегда тревога. Мир или война, все равно — немедленная помощь. *(Записывает.)* Мир очень просто устроен для одних артиллеристов. Он для них состоит только из целей. Мы же должны атаковать врага, которого никто не знает и расположение которого никем не обнаружено... *(Пауза.)* Сколько чернил истрачено на изображение горестных переживаний того французского офицера-артиллериста, который хотел завоевать весь мир, но успел, бедняжка, разгромить только часть Европы, побывал, правда, и в Египте, потом потерял все и умер на острове...⁴⁵ Ну а кто рассказал о нас, из века в век неустанно испытующих природу?

Волгунцева ставит на спиртовку колбу с водой.

Валентина Алексеевна, вам никогда не было страшно на войне?

В о л г у н ц е в а. Нет, нас было много.

Р ы м а р е в. В нашем институте это именно и радует. Нас много. Ну а в разведке вы бывали?

В о л г у н ц е в а. Не один раз.

Р ы м а р е в. Самое страшное, когда ты в разведке один. Враг прячется где-то рядом — и ни звука. Я зарезал 25 тысяч животных⁴⁶, 25 тысяч раз спросил. Он молчит. А ответ нужен немедленно, в нем заинтересовано все человечество.

Входит П о д ч а с о в.

П о д ч а с о в. Коты, они к наркозу вредные, который раз вам докладываю.

Р ы м а р е в. В чем дело?

⁴⁴ См. прим. 14.

⁴⁵ Далее вычеркнуто две строки и несколько слов.

⁴⁶ Ср. в ИОП: «За восемь лет работы он (А. Сперанский. — В. Я.) “зарезал” двадцать тысяч животных» (ЛНС, с. 148).

П о д ч а с о в. Станешь только ему маску накладывать, а он прихитрится и помрет.

Р ы м а р е в. Как?

П о д ч а с о в. Полную остановку сердца сделает — и конец. Кошка против кота куда живучее. Запишите, Валентина Алексеевна, кот № 16 приказал долго жить.

П о д ч а с о в уходит. Волгунцева записывает. Звонок.

Р ы м а р е в (*берет трубку*). Да... Да... Ага... Двое — № 3 и № 5. Журналистка? Жива? Хорошо. (*Нервно посвистывает. Записывает. Декламирует.*)

Интересно поглядеть,
 Как в лесу живет медведь...

Валентина Алексеевна, в детстве я у сестер все кукол на кусочки резал.

В о л г у н ц е в а (*снимает со спиртовки колбу*). Выпьем чаю, Дмитрий Владимирович.

Р ы м а р е в. Очень хорошо. (*Садится к столу.*)

Волгунцева подает ему стакан.

Мне все хотелось узнать, что у них в середине. Насиженные яйца с [э]той целью вскрывал. Потом, студентом, стал резать трупы. (*Отхлебывает из стакана.*) Счастливое время. Никаких сомнений, раз профессорам в трубочку все видно.

В о л г у н ц е в а (*смотрит на часы*). Дмитрий Владимирович, извините, мне надо на минутку в крольчатник.

В о л г у н ц е в а уходит.

Р ы м а р е в (*один*). Род лукавый ищет чуда, а чудо не дается ему... Умирают люди... Академик Евладов умер. (*Нервно зевает.*)⁴⁷ У нас все теперь поняли, как оскорбительно незащищен еще человек. Рабочий, ученый, журналистка, верят они или не верят мне, врачу, — ждут...

В о л г у н ц е в а возвращается.

В о л г у н ц е в а. У кроликов хорошо.

Р ы м а р е в. Будем надеяться, что и у людей станет хорошо. (*Иронически.*) Ученые существуют для того, чтобы обрадовать человечество... хотя бы веселящим газом. (*Смотрит на нее напряженно.*)

В о л г у н ц е в а настораживается.

Вы мне сказали — нет. Валентина Алексеевна, почему нет?

⁴⁷ Вычеркнуто две строки, ниже зачеркнуто несколько слов.

В о л г у н ц е в а (*волнуясь*). Не могу я, Дмитрий Владимирович. Вы большой... Не хочу стоять в тени.

Рымарев пытается обнять ее. Борьба. Входит П о д ч а с о в.

П о д ч а с о в. Кролики № 11 и № 12... (*Пятится и исчезает за дверью.*)

Рымарев и Волгунцева отскакивают друг от друга.

В о л г у н ц е в а. Никогда больше... Прошу вас.

Р ы м а р е в (*дрожащими руками закуривает папиросу*). Мне часто мешает моя грубость. Простите меня, Валентина Алексеевна. (*Пауза.*) Мы не кончили с вами разговора о куклах. Мне кажется, что я продолжаю детскую игру. Мы разрезали человека на кусочки. Каждый завладел своим и знает только свой. А кукла растерзана. Мое отрицание старого — мертвая вода: куски начинают срастаться в целое. Не в больнице, в Институте здорового человека будет открыта и живая вода. (*Пауза.*)

Взрывы на реке. Рымарев и Волгунцева нервно позевывают. Резкий звонок. (*Рымарев хватает трубку.*) Слушаю. Однако. (*Кладет трубку.*)

Слышно, как стучат в окна дерева, свистит ветер и воют собаки.

Мы всегда на краю мира. Дальше — неизвестность. Наука изучает неизвестное. Мой вопрос, обращенный к ее величеству природе, и на этот раз остался без ответа. Она бормочет устами умирающих, воеет в клетках собачника, стучит деревянными пальцами в окно.

Ветер обрывается. За сценой тишина.

Молчание. (*Пауза.*) Почему Шелепов не звонит? Не все ведь умерли? (*Взволнованно.*) Позвонить самому?

Входит Ш е л е п о в.

Ш е л е п о в. Фельдмаршал, в своем рапорте мне остается только повторить слова одного французского короля, сказанные им после того, как он увидел полный разгром своего войска. Все погибло, кроме чести.

Р ы м а р е в. Журналистка?

Ш е л е п о в. Умерла.

Р ы м а р е в. Ну что же — атака отбита. Будем атаковать. Неудачный опыт — часто начало нового открытия.

Гул взрывов на реке. Входит П о д ч а с о в.

П о д ч а с о в. Кошка № 45, которая хвост трубой, околела. Обманула, подлюга.

Шелепов наливает мензурку, пьет. Рымарев устало садится в кресло, спиной к зрителям. Волгунцева подходит к окну. П о д ч а с о в выходит. З а р я н с к и й и К р а с н о в входят. Их никто не замечает.

З а р я н с к и й. *Carpe diem*⁴⁸, Александр грешный. Недаром мы с вами, товарищ Краснов, не спали целую ночь. (*Смеется.*)

Все оглядываются. Рымарев встает и застывает с презрительной усмешкой на губах.

В о л г у н ц е в а. Что вам угодно?

З а р я н с к и й (*нюхает воздух, оглядывает лабораторию*). Опыт протекал в обстановке вполне благоприятной. Профессор Рымарев, как римский кесарь, пил вино, обнимал женщину и смотрел на умирающих гладиаторов.

В о л г у н ц е в а (*негодует*). Старый пошляк.

З а р я н с к и й. Московский аноним раскрыт.

Ш е л е п о в. Вы, дяденька, говорите, да не заговаривайтесь.

З а р я н с к и й. На этот раз скрыть вам ничего не удастся.

Ш е л е п о в. У нас расписки от родственников, которые отлично понимали, что выбирают они между смертью и опытом.

З а р я н с к и й. Может быть, родственничкам-то милым надо было освободить жилплощадь?

К р а с н о в. Вопрос ясен — кошмарное вредительство. Теперь я, Александр Константинович, окончательно согласен с вами. Наш институт — учреждение дутое. Деньги жрем большие, а достижений никаких, достижения в обратную сторону.

Р ы м а р е в выходит.

З а р я н с к и й. Факты в наших руках, товарищ Краснов. Совершенно бесстыдное убийство. У общественности поколеблена вера во врача. Надо немедленно спасти честь медицины, заявить всем, что никакие злодейства не могут опорочить настоящую науку.

К р а с н о в. Комиссия советского контроля получит хороший материал для своих оргвыводов.

З а р я н с к и й. Дело это не советского контроля, а НКВД, тут каналом Москва—Волга⁴⁹ пахнет. Там вас, профессор Рымарев, научат ценить человеческую жизнь.

Р ы м а р е в возвращается.

Р ы м а р е в. Я все слышал. Вы это серьезно?

⁴⁸ «Лови день» (лат.). Смысл: пользуйся жизнью, пока жив.

⁴⁹ Канал Москва—Волга им. И. В. Сталина. Строился в 1932—1937 гг. с использованием труда заключенных ГУЛАГа, в частности специально созданного Дмитлага.

З а р я н с к и й. До шуток ли теперь нам с вами? Могу ли я, врач, пощадить вас? *(Передразнивает Рымарева.)* «Эксперимент есть вопрос, обращенный к природе». Вот она тебе ответила — десять фиг в нос. *(Складывает две фиги и пять раз поднимает их перед лицом Рымарева.)* Две, четыре, восемь, десять. Он, видите ли, мечтал осчастливить мир. Иди, мечтатель римлянин, домой и по римскому обычаю лезь в ванну, найми оркестр, денег, если нет, дам, впрочем, обойдемся и радио, включи радио, вскрый себе вены и помечтай в теплой водичке. Больше тебе делать нечего. *(Хохочет.)*

Занавес.

Картина шестая⁵⁰

Столовая Рымарева. Стол, стулья, буфет, диван. На столе самовар.

Д в а старика и две старухи жадно едят и пьют.

Входит утомленный и охмелевший Р ы м а р е в.

Р ы м а р е в. Здравствуйте.

С т а р и к и и с т а р у х и *(встают, кланяются)*. Доброго здоровья, Дмитрий Владимирович. *(Торопливо хватают со стола последние куски, жуют и уходят с поклонами.)*

Входит А к и м о в н а.

А к и м о в н а. Народу каждый божий день непротолченная труба. *(Оглядывает стол.)* Опять все начисто съели.

Р ы м а р е в. Не жадничай, Акимовна.

А к и м о в н а. Хозяйки в доме нет — и порядку нет. *(Гремит посудой.)*

И л ю ш а вбегает в пальто, фуражке, с книгами под мышкой.

И л ю ш а. Папка вернулся. *(Целует отца.)*

Р ы м а р е в *(освобождаясь из объятий сына)*. Иди, Илюша, разденься.

И л ю ш а убегает.

Сон интересный я видел сегодня. *(Шутливо.)* Акимовна, может быть, объяснишь, к чему бы он?

А к и м о в н а. Рассказывай.

Р ы м а р е в. Плыву будто я по реке на плоту. Воды чистой почти не видать, все лед.

А к и м о в н а. Самый, значит, ледоход.

⁵⁰ Сквозь правку прочитывается «пятая».

Р ы м а р е в. По всей реке барахтаются люди, лезут на мой плот⁵¹, хватают меня за ноги. Плот медленно опускается на дно. Я к берегу, цепляюсь за кусты и ползком выбираюсь на какой-то остров. Прямо перед глазами у меня вдруг громадный кукиш Зарянского, а дальше, куда только ни посмотришь, — сплошные кролики молча жрут траву.

А к и м о в н а. Шиш снится к деньгам, к большим деньгам.

Р ы м а р е в. А жить мне будто бы на том острове, пока не заговорят кролики... Ты знаешь, Акимовна, я другой раз бью животных, злюсь, когда опыт не удаётся.

А к и м о в н а. Животное, оно, известно, языка человеческого не понимает, а руку чувствовать может. (*Берет со стола посуду.*) Подчасов на кухне дожидается. Позвать?

Р ы м а р е в. Позови.

А к и м о в н а уходит, входит П о д ч а с о в.

П о д ч а с о в. Давненько, Дмитрий Владимирович, в лаборатории не были, извиняйте, пришел доложить, очень кобелек № 2 заскучал, помните, рыжий такой, злой?

Р ы м а р е в (*усмехаясь*). Рыжие, они злые. (*Достает графин из буфета.*) Тебе какого налить?

П о д ч а с о в. Ученые пьют простое. (*Садится.*)

Р ы м а р е в (*наливая*). Правильно.⁵²

П о д ч а с о в (*встает, пьет*). Распоряжения какие будут, Дмитрий Владимирович? Мне надо подаваться в лабораторию.

Р ы м а р е в. Сиди.

Подчасов садится.

Нас обвиняют в убийстве, кричат, будто мы людей обращаем в кроликов. (*Зло.*) Наши обвинители спят и видят возвращение старого, которое во всем мире сейчас действительно хочет превратить людей в кроликов.

П о д ч а с о в. Врач, если который не уморил ни одного больного, какой он врач? (*Встает.*) Квартирка у меня не очень замечательная, но штопорок имеется редкостный. Может быть, когда заглянете?

Возвращается И л ю ш а.

И л ю ш а. Разрешите сделать правительственное сообщение?

Р ы м а р е в. Делай, Илюша.

⁵¹ Ср. с бредом Срубова из повести «Щепка» (1923), где по реке плывут плоты из трупов: «На каждом пять чекистов. С плота на плот перепрыгивает Срубов, распоряжается, командует... Твердо, с поднятой головой стоит Срубов» (Зазубрин В. Общежитие. — Новосибирск, 1990. С. 47-48). В последней главе повести бред повторяется, в нем Срубов уже не на плоту: «Он оторвался и щепкой одинокой качается на волнах». Ему навстречу плывут русалка, ведьма, леший, «из воды руки, ноги, головы почерневшие, разложившиеся, как коряги, как пни, волосы женщин переплелись, как водоросли» (с. 90). Срубов пытается уцепиться за борт одного из плотов, но срывается. В итоге он теряет разум и погибает.

⁵² Далее склейка: л. 50 (АвП) рукописи склеен из двух половин — лл. 53 и 53а АП.

П о д ч а с о в уходит.

И л ю ш а. Мною изобретен и почти сконструирован шкаф для сушки белья. Не хватает только мелочей. *(Улыбается.)* Прошу дополнительных ассигнований.

Р ы м а р е в. Не могу, Илюшенька, разрешить. Можешь пожар сделать. *(Роется в карманах.)* И вообще нет денег.

И л ю ш а *(кивает головой)*. Санкции. Санкции. *(Внимательно смотрит на отца.)* Папка, ты не болен?

Р ы м а р е в. Некоторое переутомление и лишний стакан водки, сынок.

И л ю ш а *(обнимает отца)*. Надо тебе сделать массаж. Ложись на диван.

Р ы м а р е в *(смеется, снимает пиджак и ложится)*. Доктор, я в вашем распоряжении.

Илюша забирается на диван, становится на колени и мнет отцу спину.

Рымарев кряхтит от удовольствия.

Очень хор-р-рошо, доктор.

Входит Ч е р н ы х.

Ч е р н ы х. Здорово. Где ты пропал трое суток?

Рымарев перевертывается на спину, Илюша мнет ему живот.

Р ы м а р е в. Шлялся по Москве, пил, познакомился с одним замечательным врачом из провинции. Врач — женщина, сестра журналистки, погибшей у нас в клинике.

Ч е р н ы х. Газет не читал?

Рымарев отрицательно трясет головой.

Общественность введена в заблуждение. Директор клиники, приятель Зарянского, записал в журнале, что смерть больных последовала в результате твоего эксперимента. Каждому клиницисту, конечно, интересно для уменьшения процента смертности у себя сбросить несколько случаев на чужие плечи.

Р ы м а р е в *(встает, бледнеет, целует сына)*. Спасибо, Илюша. Иди пока к себе.

И л ю ш а уходит.

У меня есть свидетели.

Ч е р н ы х. Зарянский напечатал о тебе статью — «Ученый или преступник?». Краснов кричит о засоренности твоего отдела. Сколько раз говорил — прогони разную «бывшую» нечисть.

Р ы м а р е в. А факты?

Ч е р н ы х. Опыт ты ставил? Больные умерли? Ну, какие тебе еще факты? Обоих нас отдадут под суд. С меня взяли подписку о невыезде, конечно, возьмут и с тебя.

Р ы м а р е в. Значит, расстрел?

Ч е р н ы х. Не глупи, будем защищаться.

Входит А к и м о в н а.

А к и м о в н а. Женщина пришла, вас спрашивает, дочь, говорит, у нее уморили в больнице.

Р ы м а р е в. Я ничего не...

Входит Ж е н щ и н а, она почти невменяема.

Ж е н щ и н а. Профессор, умоляю, скажите правду, она сама умерла или?..

Р ы м а р е в (*внимательно взглядываясь в лицо женщины.*) Вы не помните своего разговора со мной у вас на квартире... Ваша вторая дочь — врач, она вам все объяснит.

Ж е н щ и н а. В городе ходят чудовищные слухи, в газетах пишут...

Р ы м а р е в (*осторожно берет женщину за плечи и повертывает к двери*). У вас дочь — врач, она знает правду.

Ж е н щ и н а (*покорно*). Дочь знает правду, но она умерла...

А к и м о в н а берет ее под руку и уводит.

Р ы м а р е в. Мать журналистки, совсем невменяема. Хорошенькие, значит, разговоры идут в городе.

Ч е р н ы х. Самое противное во всей этой шумихе — разговоры о бесполезности института, его дороговизне. Институт, мол, не оправдывает расходов.

Р ы м а р е в. Они воображают, природа — проститутка⁵³. А у нее честь. Ее ни за целковый, ни за миллион не купишь.

Ч е р н ы х. Зарянский старается опорочить самую идею создания института.

Р ы м а р е в (*иронически*). Ничего не подделаешь, Кеша, ведь он опирается на здоровый консерватизм общества. (*Нервно смеется.*) Фельдшер, вылечивший насморк, становится судьей ученого. (*Зло.*) Лечите, черт вас возьми, применяйте изученное, но не смейте командовать в науке, которая прежде всего имеет дело с непознанным.

Входит В о л г у н ц е в а. Рымарев едва кивает ей.

⁵³ Ср. с романом В. Зазубрина «Горы», где его герой Безуглый пишет в тезисах к докладу: «“Сволочь природа”. В двух словах он соединил гнев и восхищение» (Зазубрин В. Два мира. — Иркутск, 1981. С. 386).

Черных. Первый опыт не удался, сделаем второй. У меня нет никаких сомнений в нашей победе.

Рымарев. Ты, Кеша, очень легко сажаешь сады науки вокруг зданий института, которые, кстати, еще не построены.

Черных. Трое суток тому назад человек гордо заявлял, что неудача — начало нового открытия, и он же сегодня...

Рымарев. Брошу все в болото. Уеду в деревню лечить колхозников...

Черных. Мне хочется предупредить тебя от необдуманного шага. (Смотрит на часы.) Иду к Белову. Он обещал помочь.

Рымарев. Иннокентий, отрекись. Ученый должен быть политиком. Встань на позицию «здорового» консерватизма. Сохранишь сим способом директорское кресло и завоюешь расположение женщины... Она меня послала ко всем чертям.

Черных (гневно). Прощаю тебе эту гнусность только потому, что ты пьян. Валентина Алексеевна, не советую вам тут задерживаться, надо дать ему проспать. Он готов оклеветать весь мир.

Черных уходит, хлопнув дверью. В другой двери Акимовна.

Акимовна. Тверезый, не расшибай дверь.

Рымарев. Почва «здорового» консерватизма весьма плодородна. Сначала на ней вырастает заговор сотрудников, потом сотрудники разбегаются из лаборатории, оставшиеся поднимают бунт. Клевета в газете. Обвинение в отвратительном преступлении. А идеи раскрадывают по частям, из частей прекрасно задуманной сложной машины делают топоры и... получают признание общества. (Потрясает кулаками.) Ну где еще они найдут такую рыжую собаку, которая бы на все кидалась с такой злобой? (Оглядывается.) Акимовна, меня судят.

Акимовна. Господь с тобой, Дмитрий Владимирович, какой там еще суд? Сейчас затоплю ванну, помоешься и в постель.

Рымарев (нервно смеется). В ванну, говоришь? Мне ее тоже рекомендовал один известный профессор. Очень, говорит, помогает в тяжелых условиях жизни.

Акимовна. Ну вот и добро. Пойду за дровами.

Акимовна уходит.

Рымарев (мечется по комнате). Люди преклоняются перед убийцами в мундирах, бессмысленно убивающими тысячами, миллионами, и они же готовы растерзать ученого за один его неудачный опыт... Врач унижен, низведен до положения лакея, щедро награждаемого зуботычинами⁵⁴. Ну, что же вы молчите? Мужчина, чтобы понравиться вам,

⁵⁴ Вписано ручкой. Л. 54 АвП склеен из двух страниц — лл. 57 и 57а в АП.

распустил весь свой огненный хвост красноречия. Из лаборатории все разбежались?

В о л г у н ц е в а. Старики.

Р ы м а р е в. Старичкам у меня, действительно, страшновато. Буду работать один. Сильный и в одиночестве силен.

В о л г у н ц е в а. Хорошо, что хоть не решились повторить шиллеровское: «Der Starke ist am mächtigsten allein»⁵⁵, а ограничились только его перефразированием... Одиночество ваше выдуманное, извлечено вами из собственного пальца.

Р ы м а р е в. Вы сами сказали, что у меня разбежались сотрудники.

В о л г у н ц е в а. Молодые, видимо, не считаются достойными сотрудниками? Вы мало знаете своих помощников, недооцениваете нас. Мы готовы в огонь и в воду. *(Пауза.)* Обидно за молодежь.

Р ы м а р е в. Простите меня, никак не могу обойтись без грубостей.

В о л г у н ц е в а. Вам, точно, нравится изображать из себя непонятого и непризнанного ученого.

Р ы м а р е в. Для объективности, впрочем, могу назвать одного нечаянно найденного настоящего друга. Женщина-врач из провинции, отлично осведомлена о наших работах, разделяет все наши взгляды и сама готова на все. Почему, говорит, пасть за родину в поле — великая честь, а погибнуть на койке в клинике во имя открытия целых миров — никакая не честь, не героизм?

Входит И л ю ш а.

И л ю ш а. Извиняюсь, товарищ папа, у меня к вам есть вопрос.

Р ы м а р е в. Да?

И л ю ш а. В газете сказано, ваш институт изобретает долголетие. Ты как думаешь, лет на двести изобретете?

Р ы м а р е в. Чего на двести?

И л ю ш а. Ну, чтобы жить двести лет. Вот будет интересно — тебе двести, а мне сто семьдесят, тогда мы с тобой ровесниками станем. Жалко, мама умерла.

Р ы м а р е в. Не говори пустяков. *(Илюша, надув губы, идет к двери.)*

В о л г у н ц е в а *(обнимая мальчика)*. Отец *(оглядывается на Рымарева)*, вылитый отец. *(Целует Илюшу в голову.)*

И л ю ш а вырывается и убегает.

Р ы м а р е в *(усмехаясь)*. Можно подумать, что у ученых даже дети говорят только про умное. Ну а уж сами-то ученые — они, конечно, борода до пупа, лысина, очки и все про умное, только про умное. *(Смеется.)*

⁵⁵ «Сильный человек является сильнейшим в одиночку» (нем.).



Валентина Алексеевна, мне кажется, нам с вами пора поговорить и о милых глупостях. (*Пытается взять Волгунцеву за руку.*)

Волгунцева отстраняется.

Хорошо бы изобрести лет на двести, как говорит Илюша. Лет через сто вы скажете мне — да.

В о л г у н ц е в а. Вы думаете, я просто из кокетства говорю вам — нет? Недавно Алексей Александрович смеется — вы его любите, и он вас любит. Машинистка знает, что надо в таких случаях делать, вы врачи оба, и развели такую канитель.

Р ы м а р е в (*смеется*). Совершенно «научная» постановка вопроса. Узнаю стиль Алексея.

В о л г у н ц е в а. Я была замужем и ушла. Не могу. Мне кажется, в отношениях мужчины и женщины сохранилось что-то связывающее женщину, делающее ее неравноправной. Не подумайте, что я проповедую беспорядочную любовь. Несколько раз мне очень хотелось сказать вам просто — люблю, и не выходит, прямо какое-то заикание. (*Пожимает плечами.*) Жена. В самом этом слове... Жена профессора Рымарева, беспартийного специалиста.

Р ы м а р е в. Вы коммунистка?

В о л г у н ц е в а. Разве вы не знали?

Р ы м а р е в. Не интересовался.

В о л г у н ц е в а. Заведующему отделом иногда полезно знать своих сотрудников.

Р ы м а р е в. Науке, однако, известны факты, когда коммунистка выходит замуж за беспартийного и наоборот, или какая там еще может быть комбинация? (*Горько.*) Рымарев — беспартийный специалист. Мне казалось, Рымарев — революционер и товарищ.

В о л г у н ц е в а. Очень большой революционер. Только, если революционер и беспартийный, значит, у него в голове еще не все ясно: когда у революционера все ясно, он идет в партию.

Р ы м а р е в. Не подсказывайте, пожалуйста. Ученого учить — только портить. Сам знаю, что мне нужно делать. Не люблю коммунистов, всегда в учителя лезут.⁵⁶ Сын мой пионер, и тот старается отца направить на путь истины. Сударыня, есть такая порода людей (*показывает на себя*), которая привыкла до всего доходить только своим умом.

В о л г у н ц е в а. Не собиралась учить вас. Мне кажется, я говорила только о себе.

⁵⁶ Неприемлемая для 1937 г. фраза, оставленная автором в тексте пьесы, видимо, имеет несколько источников: влияние антикоммунистических взглядов И. Павлова, терпимых властью, автобиографический опыт партчинок или следы знакомства В. Зазубрина с пьесами А. Афиногенова «Страх» (1931) и «Ложь» (1933). В первой из них профессора Бородина учит коммунизму старая «партийка», в другой героиня пьесы Нина стреляет в излишне принципиального коммуниста Рядового, который хочет выдать ее товарища оппозиционера Накатова.

Р ы м а р е в. Ну ладно, умна. Не спорю. Ручку. (*Целует руку.*)

В о л г у н ц е в а (*смотрит на часы*). Нужно в клинику. Дмитрий Владимирович, у меня к вам маленькая просьба. (*Вытаскивает из сумочки револьвер.*) Мне он дорог как память о юности, о фронте. (*Подает револьвер Рымареву.*)

Р ы м а р е в (*беря револьвер*). В чем дело?

В о л г у н ц е в а. Мне больше некому... У меня нет еще человека... Вообще, прошу на всякий случай сохранить револьвер... Я себе... одним словом... заразилась сыпняком.

Р ы м а р е в. Вы с ума сошли?

В о л г у н ц е в а. Могла ли я уступить кому-нибудь, даже вашему врачу из провинции, честь первой попробовать новый способ лечения сыпняка, разработанный профессором Рымаревым?

Р ы м а р е в (*тревожно*). У вас, кажется, неважное сердце?

В о л г у н ц е в а. Тем интереснее опыт.

Р ы м а р е в. Отлично. Мы ляжем вместе. Я докажу, что умею не только командовать...

В о л г у н ц е в а. Не выйдет, командир. Мы вам не позволим. Не имеете права без надобности рисковать своей жизнью.

Р ы м а р е в (*неожиданно грубо*). А как ты смела?! Мое! (*Швыряет револьвер себе под ноги, топчет его.*) Я Митька Рымарев. Я люблю в морду дам! А вы из меня блаженного строите, угодника Божия!

В о л г у н ц е в а. Не всегда и я была Валентиной Алексеевной. (*Отстраняет Рымарева.*) Ну-ка, посторонитесь, товарищ. На Восточном фронте белые хорошо знали Вальку Волгунцеву. (*Поднимает револьвер.*) Штуклой этой я научилась владеть раньше, чем ножом хирурга. (*Кричит.*) Акимовна!

Входит А к и м о в н а.

Уберите, пожалуйста, мой револьвер куда-нибудь подальше, чтобы Илюша не поранил себя.

Акимовна неловко берет револьвер за ствол.

Не так держите, надо брать за рукоятку.

А к и м о в н а уходит, входит И л ю ш а.

И л ю ш а. Подумаешь, невидаль, пистолет браунинг № 2. Илюша значок ворошиловского стрелка имеет, а она (*передразнивает*): «Илюша застрелится».

И л ю ш а уходит.

В о л г у н ц е в а (*буднично*). Я пошла в клинику, Дмитрий Владимирович.

В о л г у н ц е в а уходит.

Р ы м а р е в (*передразнивает*). «Могла ли я?..» Глупость... (*Курит. Пауза.*)

Входит А к и м о в н а.

А к и м о в н а. Ну, готова ванна.

Р ы м а р е в (*вздрагивает, роняет папиросу*). Сейчас.

Занавес.

Картина седьмая

Купе мягкого вагона. Пассажиры — Р ы м а р е в и Ж е н щ и н а - в р а ч из провинции. За окном метель. Поезд мчится.

Р ы м а р е в (*смотрит в окно*). Ничего не видно. Метель совершенно как зимой.

Ж е н щ и н а - в р а ч. Обычный для этих мест шальной весенний снегопад. Мы ведь с вами в трех тысячах километрах на северо-восток от Москвы.

Р ы м а р е в. Провинция.

Ж е н щ и н а - в р а ч. Мы проезжаем через полосу мощных совхозов и МТС. На каждой остановке слышен стук моторов. Люди готовятся к весеннему севу.

Р ы м а р е в. Ничего не слышать, не видеть, ни о чем не думать. Моторы напоминают Москву. Ваше лицо, впрочем, тоже мешает мне забыть лабораторию. Вы поразительно похожи на свою покойную сестру-журналистку.

Ж е н щ и н а - в р а ч. Сестра была моложе меня.

Р ы м а р е в. Временами кажется, опыт еще идет и вы — это она и все поправимо. Она или я, кролик № 1 или кролик № 2... Не то, не то. Мне нужен человек...

Ж е н щ и н а - в р а ч. Если бы я могла...

Р ы м а р е в. Можно ли хорошо относиться к разыскиваемому и бежавшему?

Ж е н щ и н а - в р а ч. Никто вас не станет разыскивать. Черных один опровергнет все обвинения.

Р ы м а р е в. Естественная ошибка, какую может допустить любой ученый, и вот обвинение, словно обвал, грохочет вокруг моего имени. Рымарев не сделал ни одного удачного опыта, не вылечил ни одного больного. Рымарев издевался над наукой и уподобился синице, которой так и не

удалось зажечь моря. Долой Рымарева. Вы понимаете, оставалось сделать всего один верный шаг, и тогда те, что считают Рымарева убийцей, назвали бы его лучшим другом... Один шаг...

Ж е н щ и н а - в р а ч. Если вы даже не сделаете этого шага, то и тогда имя ваше будет поднято молодежью как знамя, на котором она напишет: «Недоверие к прошлому». Вы широко посеяли беспокойство, заставили искать. Вы заложили основы нового канона...

Р ы м а р е в. Меня оценят в полной мере лишь в те отдаленные времена, когда каждый научится различать подлинное и плодотворное бесстрашие мысли от пустозвонства.

Ж е н щ и н а - в р а ч. Может быть, времена эти уж и не так отдаленны, и давайте пока оставим науку в покое...

Р ы м а р е в. Иннокентий, пожалуй, прав: обществу не ясно, враг Рымарев или друг. Обществу надо понятное. Ну, скажем, двенадцать тысяч километров без посадки.

Ж е н щ и н а - в р а ч. Вы скоро дадите свои двенадцать тысяч. Ну, например, лечение сыпняка в одну ночь... *(Берет Рымарева за руки.)*

Рымарев молчит, опустив голову.

Занавес.

Действие четвертое

Картина восьмая⁵⁷

Новая квартира Рымарева. Кабинет. Вечер. Шторы опущены. Иногда с улицы доносятся слова рабочей команды и стук топоров. **Р ы м а р е в** полулежит в кресле.

Ч е р н ы х и **В о л г у н ц е в а** сидят. **И л ю ш а** стоит.

Ч е р н ы х. Ну, рассказывай, рассказывай.

Р ы м а р е в. Мысль о самоубийстве — подчеркиваю, мысль, не покушение, — и отъезд, по-вашему бегство, в деревню — все это только страдания моего самолюбия, а не ума, не поведение, а лишь раздражение.

Ч е р н ы х. Глупость и разъясненная остается глупостью. Илюша говорил, ты перед отъездом декламировал монологи из «Гамлета»?

Р ы м а р е в. Пьян был, дружок, бормотал что-то в этом роде.

И л ю ш а. Не по-советски ты поступил, папа. Дал подписку никуда не уезжать и укатил. Нет, если я уж дам какое обещание, то извиняюсь, не выполню в срок — позор перед всеми товарищами и просто самому противно, точно Гамлет твой — все время в прорыве и только под конец выполняет, и то неудачно — сам погибает. *(Декламирует иронически.)*

Бледнеет в нас румянец сильной воли,
 Когда начнем мы размышлять...

⁵⁷ Исправлено чернилами поверх печатного текста.



А по-моему, чем больше думаешь, тем сильнее делаешься. Я нарочно выучил эти позорные строки, чтобы поступать всегда наоборот. Ты воображаешь, мне непонятен Гамлет? Ничего сложного в нем нет. «Быть или не быть?» Просто какое-то психическое заикание.

Волгунцева всплескивает руками.

Черных (смеется). Здорово чертенок сказал.

Рымарев. Отец твой не заикался, сынок, когда надо было ставить опыт.

Черных. Не позволим мы вам больше глупить, дорогой товарищ. Прорабатывай его, Илюша, прорабатывай хорошенько.

Рымарев. В конце концов, ничего не случилось. Человек уехал работать в деревню.

Илюша (передразнивает). В деревню, как несознательный колхозник. Его колхоз работать послал на завод, а он дыму испугался.

Рымарев (усмехаясь). Илюша, довольно, не вставляй мне в душу марксметр. Осознаю все свои ошибки и разоружаюсь, как продукт загнивающей мелкобуржуазной верхушки.

Черных. Нужно совершенно потерять веру в себя, во все вообще, чтобы так малодушно дезертировать.

Рымарев. Ты опять приступил к исполнению своих человеческих обязанностей?

Черных (сердясь). Валентина Алексеевна, Илюша, оставьте нас вдвоем на две минуты.

Илюша (выходя). Тайная дипломатия.

Волгунцева и Илюша выходят.

Черных. Ты что меня дразнишь? По-твоему, надо было полоснуть тебя бритвой по горлу? Профессор Черных из ревности зарезал профессора Рымарева. (Иронически.) Какая сила страсти, какая глубина чувств!

Рымарев. Меня не прельщает роль героя мелодрамы.

Черных (насмешливо). Смотрите, как я одинок, как я переживаю, как я лезу в ванну. Что же это, по-твоему, тр-р-рагедия? Бросить дело, товарищей и бежать... от Зарянских.

Рымарев. Мне — от Зарянских? Кролик, полагаю, страшнее твоего Зарянского. Зарянские — мелочь.

Черных. Зарянские, к сожалению, сила. А вот твое бессилие перед лицом врага мне непонятно.

Рымарев. Ни суда, ни Зарянского не боялся, потому что верил и верю в наше время, в нашу страну.

Черных. Чего же ты испугался?

Рымарев. Иннокентий, можно человеку раз в жизни настоящему испугаться кролика, а благородства ради придраться к ку-

кишу Зарянского, раздражиться и бежать? Накануне того несчастного опыта, когда погибла журналистка и другие, художник показал мне проект нашего института. Высокие железобетонные корпуса, словно крепостные башни, возвышались над голой равниной. У самых стен река в торосистом льду, и на берегу огромный гранитный памятник Неизвестному кролику. Несколько дней подряд потом мне снилась длинная, как вечность, река во льду, тонущие люди и каменная равнодушная морда кролика. Мои усилия добиться хоть какого-нибудь ответа у истукана показались мне ребячьей забавой... (*Кашляет.*) Неожиданная встреча с замечательным врачом из провинции... Силы вернулись ко мне там, в глуши. Мы работали бешено.

Ч е р н ы х. Мы знали об этом и медлили с твоим вызовом.⁵⁸

Р ы м а р е в. Не знаю, Иннокентий, кем мы были в деревне, трусами или героями. Мы чувствовали себя счастливейшими людьми.

Ч е р н ы х. Мы здесь тоже не спали. Молодежь работала отлично — Волгунцева, Волков, Шелепов и даже Краснов. Гартштейн наделал шуму на всю Европу. Он самоотверженно заразился сам, перезаразил всех своих сотрудников.

Р ы м а р е в. Если бы не болезнь, то вы не увидели бы меня так скоро в Москве. Между прочим, за новую квартиру, за твои заботы об Илюше — спасибо. А из своей провинции жду скорых известий. Думаю, останетесь довольны.

Ч е р н ы х. Мы тоже кое-что преподнесем тебе.

Р ы м а р е в. Я даже женился в деревне.

Ч е р н ы х. Ты прошел мимо большой любви. Очень жаль Волгунцеву.

Р ы м а р е в. Большие люди в любви громоздки. Мне нужно было что-то очень простое, ласковое и, может быть, даже маленькое...

Ч е р н ы х (*кричит*). Товарищи, можете вернуться.

В о л г у н ц е в а возвращается.

И л ю ш а (*за сценой*). А, может быть, мне не хочется.

Р ы м а р е в (*встает, делает несколько шагов*). Хожу свободно. Никакой слабости.

В о л г у н ц е в а (*подходит к Рымареву, точно желая его поддержать, и говорит тихо*). Не буду больше заикаться.

Р ы м а р е в (*холодно*). После опыта не осталось никаких следов?

В о л г у н ц е в а. Ничегошеньки.

Входит И л ю ш а.

И л ю ш а (*обнимает отца*). Папа, ты еще болен? Ты не сердись-ся, что я тебя так сильно проработал? Может быть, тебе сделать массаж?

⁵⁸ Далее склейка: л. 60 АвП склеен из двух листов — лл. 65 и 65а АП.

Рымарев (*целуя сына*). Проработывать можно, массировать еще рано.

Илюша уходит.

Иннокентий, насколько я понимаю в медицине, ты сегодня собирался отпраздновать день моего рождения?..

Черных (*смеется*). Сегодня мы тебе день выздоровления, рождения и именины — все сразу устроим.

Зарянский входит вместе с Беловой.

Зарянский. Привет, привет, привет.

Белова. Очень рада вас видеть.⁵⁹

Рымарев. Чем обязан столь лестному для меня визиту?

Зарянский. Согласно требованиям международного права, вежливость обязательна даже для воюющих сторон. Честность ваша, Дмитрий Владимирович, установлена следственными органами, и я, как честный человек, пришел выразить удовлетворение...

Рымарев. У меня, к сожалению, нет сведений о вашей честности.

Зарянский. Можете не сомневаться. (*Самодовольно смеется.*) Разве Зарянский не лучший хирург в стране? (*Пауза.*) Дмитрий Владимирович, мы с вами поспорили. Может ли наука существовать, развиваться, двигаться вперед без споров ученых? Некоторое время мы, возможно, помолчим с вами, потом почему [бы] нам снова не поднять старого спора? Медицина — наука политическая...

Рымарев. Увольте, Александр Константинович.

Белова. Не буду больше спорить с вами. Надоела заоблачная высь теории. Мы теперь с Александром Константиновичем принимаем больных вдвоем. От мужа ушла. Очень хочу видеть вас у себя, Дмитрий Владимирович.

Рымарев. Приятные новости и лестные предложения.

Зарянский (*Беловой*). Отдохнем немного. (*Садятся.*) Вся моя вина перед вами, Дмитрий Владимирович, в том, что я поднял на ноги общественность после вашего неудачного опыта, ибо был бдителен, как то и подобает настоящему советскому гражданину.

Рымарев первый, потом Волгунцева и Черных зевают нарочито громко.⁶⁰

Мне захотелось поздравить вас сегодня. Я не ошибся?

Волгунцева. Нисколько. Дмитрий Владимирович сегодня выздоровел — раз, родился — два, вообще именинник — три.

Входит Гартштейн.

⁵⁹ Вписано чернилами.

⁶⁰ Вычеркнуто три строки.

Г а р т ш т е й н. Дмитрий Владимирович, прошу принять кающегося грешника. (*Подает руку.*) Поздравляю со днем рождения.

Рымарев кивает.

Иннокентий Николаевич (*показывает на Черных*) прямо заставил меня сегодня придти к вам. Приходи, говорит, пусть он тебе вложит пальцы в раны.

Все смеются.

Медицинская печать Европы и Америки признала мою работу открытием, которое...

Рымарев. Открытия мне еще в XIX веке надоели. Некуда ступить — всюду открытия. А вот когда мы хотим подвести итоги, то оказывается, что ничего не известно. Есть открытия, есть ученые — и нет науки.

Г а р т ш т е й н. Не буду спорить, Дмитрий Владимирович. Моя задача сегодня иная. Вы, и только вы дали мне возможность сделать то, что я сделал.

З а р я н с к и й. Casus rarus.⁶¹

Ч е р н ы х. Для нашего ученого честность не редкий случай, а необходимое условие работы.

Г а р т ш т е й н. Вы, Дмитрий Владимирович, помогли мне уразуметь одну простую и плодотворную истину.

Рымарев. А именно?

Г а р т ш т е й н. Если в учебнике написано что-либо прописью — подумай, может быть, надо поступить наоборот.

Ч е р н ы х. Сейчас по всей стране как раз и идет ломка прописных истин.

Г а р т ш т е й н. Желание до конца быть честным обязывает меня сказать вам... (*Пауза.*) Сегодня вы — все новое в нашей науке. Завтра, может быть, удастся мне...

Ч е р н ы х (*смеется*). Пожалуйста, в границах социалистического соревнования.

Входит П л и г и н.

П л и г и н. Поздравляю вас, Дмитрий Владимирович, со днем рождения и прошу защиты. Я двадцать пять лет работал вместе с академиком Евладовым, написал двести одиннадцать работ, и вдруг наш директор предлагает мне перейти на пенсию. Я тридцать лет тому назад уже предвидел все ваши открытия...

Рымарев. Ничем не могу помочь вашему горю.

П л и г и н. А говорят, вы в большую силу вошли.

В о л г у н ц е в а. Нашествие кающихся грешников.

⁶¹ «Редкий случай» (лат.).

Черных. Дмитрию Владимировичу вредно много разговаривать.
 Плигин. Хорошо, я в другой раз. (*Растерянно садится рядом с Зарянским, потом встает, кланяется и уходит.*)

Волков входит вместе с Красновым.

Волков. Дмитрий Владимирович, я тот самый Волков, которого вы подозревали...

Рымарев. Не без оснований.

Волков. Мы с Волгунцевой брали у вас не для Гартштейна и у Гартштейна — не для вас. Мы вас поправляли Гартштейном и Гартштейна — вами. Наша работа дала возможность помочь и тому и другому. Вы сможете двигаться теперь с удесятеренной скоростью.

Рымарев. Не надо мне ничьей помощи.

Черных (*шутливо*). Смирись, гордый человек.

Рымарев (*смеется*). Сегодня прощаю тебе, Иннокентий, все твое скучное резонерство и говорю спасибо за молодежь. Отличное воспитание. Правильно сделали, молодые люди. Цените Гартштейна, Рымарева, Евладова и думайте по-своему. Уважайте науку и учитесь оплакивать ее так, как оплакивал ее Сталин под Питером, когда брал «Красную Горку»⁶² вопреки этой самой науке. (*Смеется.*) Очень хорошо, товарищи.

Зарянский (*зевая*). «Нравоучительные сценки со счастливым концом из жизни советского ученого Рымарева, или Гений с поправками».

Волгунцева. Поправки как раз и есть социализм. Гений без поправок — это Чингисхан, которому все позволено, это Игнатий Лойола, это Аноним из Пфальца, обращающий людей в кроликов.⁶³

Черных (*Зарянскому*). В СССР плохие концы отменяются.⁶⁴ Себе-то его ты, во всяком случае, не желаешь?

Волгунцева. Могу вас успокоить, Александр Константинович, для врагов плохие концы сохраняются. Вы удовлетворены?

Зарянский. Не совсем.

Волков. Дмитрий Владимирович, комсомольцы-врачи, сотрудники нашего института, идя в бой за здорового человека, приветствуют вас и просят немедленно принять командование в свои руки.

Рымарев. Сегодня выхожу в институт.

Волков. Мы приглашаем вас в клиники.

Рымарев. Зачем?

Волков. Мы решили на себе проверить ваши методы лечения.

Рымарев. Не надо только громких слов... и римского пафоса... Идущие... приветствуют... Больше всего боюсь позы и театральности.

⁶² Вооруженное контрреволюционное выступление гарнизонов форта «Красная горка» и др. под Петроградом в июне 1919 г., подавлением которого руководил И. Сталин.

⁶³ Л. 3 АвП склеен из трех листов: 68, 68а и 68б Ап.

⁶⁴ Вычеркнута строка. В конце того же л. 69 Ап вычеркнуто четыре строки.

В о л к о в. Мы не гладиаторы. Мы люди, которые знают, на что и для чего они идут.

К р а с н о в. Дмитрий Владимирович, мы люди простые, и никаких слов нам не надо. Раз в чем уверишься, тут уж идешь до конца.

Ч е р н ы х. У нашей молодежи твердая поступь и гордо поднятая голова. Для нее это не поза, а обычная походка.

Р ы м а р е в. Скромность прежде всего. Из истории науки нам известно, что случаи, когда ученые на себе...

З а р я н с к и й. Мой дружеский совет вам, Дмитрий Владимирович, не уподобляйтесь кислому огурцу, в то время когда на стол подано уже сладкое. (*Идет к выходу, Белова за ним.*) Если случится вам упасть откуда-нибудь с высокого места и, не дай бог, сломать себе шею — милости прошу, окажем немедленную хирургическую помощь.

З а р я н с к и й уходит, позевывая.

Ч е р н ы х (*вслед Зарянскому*). Сей большой врач от практики и маленький фельдшер от науки мешают нам не менее любого врага.

Р ы м а р е в. Драма наша не в том, что Зарянские преуспевают и гадят. (*Пауза.*) Мы не знаем того, что должны знать... Наша драма — драма невежд, осознавших свое невежество.⁶⁵

Ч е р н ы х. Осознание своего невежества есть верный шаг к настоящему знанию.

Входят Шелепов, Подчасов и Старик рабочий.

Ш е л е п о в. Фельдмаршал, прибыли в твое распоряжение. Идем на прорыв. Все силы бросаем в одно место.

П о д ч а с о в. Всем гамызом двинулись, чтобы, значит, сразу задавить — и конец.

С т а р и к р а б о ч и й. Испробовать надо твое изобретение. Газ удушливый и тот пробуют, лекарство как оставить без внимания? Мы, как под Питером на Юденича, решили навалиться. Заместо отпуска — в клинику. Харч-то, поди, хороший, ничего, пролежим?

Ч е р н ы х. Дмитрий, группа советского контроля, обследовавшая наш институт, целиком отдала себя в твое распоряжение. Они все уже в клинике.

Р ы м а р е в (*взволнованно*). Вы... они (*показывает на Волкова и Краснова*)... люди из советского контроля... рабочие вашего завода...

В о л к о в. Отцы наши и старшие братья дрались на баррикадах и в окопах...

Волгунцева подбегает к нему, целует, потом обнимает и целует Краснова,
Подчасова, Шелепова и Старика рабочего.

⁶⁵ Вычеркнуто пять строк.

Черных. Наука в нашей стране перестает быть делом героев-одиночек. Она — достояние всего народа.

Рымарев. Мне трудно найти нужные слова в такие минуты... Не будем замалчивать наших завоеваний, но не будем преуменьшать и препятствий, которые у нас впереди. Медицина имеет дело со стихией, поэтому всего предусмотреть пока еще не в силах. Распорядитесь на всякий случай своими делами.

Краснов. Видали мы виды. В тайге, бывало...

Рымарев. Товарищи, мне хочется сказать вам прямо, что сегодняшняя наша атака, может быть, еще не даст нам ключа к позиции врага. Не на достижениях хотелось бы мне воспитывать вас. Сколько мы еще должны копать для того только, чтобы бросить начатые шахты и начать новые, пока, наконец, не будет сделан последний подкоп.

Волгуницев а. На нашем языке это называется «не успокаиваться на достигнутом».

Рымарев. Бесстрашными глазами глядеть в каменную рожу действительности и работать, работать...⁶⁶

Илюша входит с ящиком и полотенцем.

Илюша. Демонстрируется сушильный шкаф конструкции Рымарева 2-го. На глазах у публики будет просушено совершенно мокрое полотенце.

Рымарев пытается протестовать, но Илюша быстро кладет полотенце в ящик, вытаскивает вилку в штепсель. Из ящика показывается дым. Илюша открывает дверку — полотенце пылает, свет тухнет.

Рымарев. Безобразие, Илья.

Илюша. Граждане взрослые, прошу без паники. Имеются запасные пробки. Сейчас будет дан свет.

Илюша убегает.

Рымарев (*кричит*). Акимовна, свечи!

Пауза. Черных поднимает шторы. В окна видно огромное здание, украшенное флагами и цветными фонариками. Рабочие убирают последние леса. На берегу реки памятник Неизвестному кролику.

Черных. Дмитрий, вот новое здание твоей лаборатории.

Волгуницев а. Лавочники загнали медицину за прилавок. Мы ее выводим на фабрику. От врачей-кустарей — к врачам-инженерам.

Черных. Не пересадка обезьяних желез одряхлевшим миллиардерам, не торговля научной благодатью, не N+1-й институт, а Институт здорового человека.

⁶⁶ Вычеркнуто пять строк.

Р ы м а р е в. Настанет время — границы государств падут, имена великих завоевателей, кровавые даты битв будут забыты. Человечество сохранит от забвения лишь имена полководцев, которым суждено разбить в последней войне армии последних каннибалов. На смену кровавой хронологии предыстории возникнет новая хронология. Люди станут считать время по датам великих работ. Страна, провозгласившая человеческую жизнь самой величайшей ценностью, никогда не забудет вас, товарищи.

Ч е р н ы х. Пора.

В с е. Мы готовы.

Пауза. Рымарев медленно обходит всех, идущих на опыт, и молча жмет руку. Все, кроме Черных, Волгунцевой и Рымарева, уходят. А к и м о в н а ставит на стол зажженные свечи и тоже уходит.

В о л г у н ц е в а (восторженно). Не могу молчать. (Декламирует.)

В море бегут корабли
 От земли опостылой и тесной.
 Многие гибнут вдали
 У порога страны неизвестной,
 Но, по примеру отцов
 И с отцами отвагою споря,
 Дети выходят на зов
 Непрестанно зовущего моря.

Вбегает Ж е н щ и н а - в р а ч.

Ж е н щ и н а - в р а ч. Дмитрий, удача, счастье! (Обнимаются.)

Р ы м а р е в. Женщина-врач из провинции. Моя жена.

Приветствия. Волгунцева бледнеет.

Мне удалось, Иннокентий, немного раньше вас поставить там свой опыт.

Ж е н щ и н а - в р а ч. Мы сами легли на койки.

Р ы м а р е в. Провинция на этот раз опередила Москву. Те, что пошли сейчас в клинику, уже ничем не рискуют. Однако опыт должен быть повторен многократно, потому что в медицине верят только большим числам.

Ч е р н ы х. Опыт твой прямо чудо.

Р ы м а р е в. Чудес нам не надо. Никакой яичницы в кармане. Грядущим поколениям мы должны передать не чудеса, а возможность беспрепятственно продолжать ход научного исследования. Надо научиться так располагать факты и так в них разбираться, чтобы никаких чудес не было, а было бы все ясно до конца.

Ч е р н ы х. Во всяком случае, хороший конец.

В о л г у н ц е в а (машинально). Хороший конец.

Р ы м а р е в. Для кого конец, а для кого начало. Для Гартштейна, честно проползавшего всю жизнь у подножия памятника Пастеру и выдравшего вчера клоч линялой шерсти из моего бока, сегодня, может быть, и конец и зажиточная жизнь в науке, хотя он и лепечет еще о своем завтра. Гартштейн, не спорю, герой науки, и Зарянский, не возражаю, заслуженный деятель медицины, и все же... Наши герои — те, что ушли в клинику, те, что не дрогнули ни перед кем, показали себя бесстрашными вдвойне — бесстрашными гражданами и бесстрашными мыслителями. Для них сегодня только начало. (*Обертывается к Волгунцевой.*) Валентина Алексеевна, все сказанное об ушедших в клинику в полной мере относится и к вам, и... простите меня. (*Целует у Волгунцевой руку.*)

За сценой шум и крики: «Да здравствует профессор Рымарев, лучший врач, друг трудящихся!»

(*Рымарев торопливо открывает окно, смотрит вниз и говорит удивленно.*) Толпа. Знамена.

Ч е р н ы х. Трудящиеся столицы приветствуют тебя. Мы должны спуститься к ним.

Р ы м а р е в. Они рукоплещут моим большим поражениям и маленьким победам. (*Снова выглядывает в окно.*)

Крики становятся восторженнее.

Ч е р н ы х. Они знают, что из поражений ты выковал победу. Они на руках понесут тебя в клинику. Пойдем к ним. Валентина Алексеевна, пошли.

В о л г у н ц е в а. Иду.

Р ы м а р е в (*смуценно*). Мне стыдно, Иннокентий, точно уличенному обманщику. Мне надо сказать им... Все сделанное мною — ничто по сравнению с тем, что я замыслил... Господи, если бы мы могли остановить человеческую мысль...

За сценой ликующие крики.

Ч е р н ы х (*выглядывая в окно*). Народ ликует. Товарищи, все вниз.

Черных решительно шагает к двери, за ним Женщина-врач из провинции, Рымарев сзади в глубокой задумчивости.

В о л г у н ц е в а (*машинально*). Иду. (*Не двигается. Плачет.*)

На сцене вспыхивает свет. Входит И л ю ш а.

И л ю ш а. Внимание, граждане, свет дан.

Занавес.

Анатолий УЗДЕНСКИЙ

ЗАКАДРОВЫЙ ТЕКСТ

Актерские байки

«Малина в шоколаде»

...Я так не договаривался! Пошел уже мой третий питерский месяц, а съемок как не было, так и нет. А жить на что? Зарплата с гулькин нос (даже в сравнении с новосибирской), за съемное жилье плати, харчи дорожают... На работе приятель успокаивает: ты не дергайся, главное, веди себя так, будто у Алексея Германа седьмой год снимаешься, а деньги будут! Сам он, кстати, у него седьмой год и снимался — Ярмольника подменял в массовках. При этом мнимому Ярмольнику платили прилично — из уважения к личности, скорее всего. Или во избежание скандала: не дай бог, узнает, что за его тень выплачиваются гроши — себе дороже! Так что дублер чувствовал себя тоже немного Ярмольником и держался со всеми слегка надменно. Ходил, так сказать, «в шоколаде».

— И у тебя все с годами наладится! — снисходительно похлопывал он меня по плечу.

Ага! У двоих моих знакомых уже наладилось — плацкартой домой поехали. Да и то на плацкарту родители выслали.

Есть у меня дружок-однокурсник, Сашка Ильин, тоже в «Трудно быть богом» снимался. Не семь лет, правда, а три. Герман его увидел, утвердил и запретил стричься-бриться в ближайшее время. Ну, время идет, растительность густеет, все более и более делая его похожим на снежного человека. Ролей в театре все меньше, снимать в кино прекратили...

В первый год дважды его из Москвы в Питер к Герману вызывали на «грим ноги». Естественно! У него на ноге какая-то страшная язва должна была быть, вот над ней и работали. Платили как за съемочный день, все честно. Потом и про язву забыли. В театре перевели на ставку пониже — выходил-то он теперь на сцену раз в месяц в «Аленьком цветочке», чудище изображал. Даже хвастался мне: «Я после спектакля костюм сменю и сразу домой — разгримировываться-то не надо!» Утешение, между нами говоря, слабое. И вот как-то Саньку предложили роль, от которой нельзя отказаться. Звонит он на «Ленфильм» ассистентке: так, мол, и так, разрешите побриться... А та ему: «Да ради бога! Ваш эпизод еще два года назад сократили!» Ей-богу, не вру! В кино так: нужен — из-под земли достанут, не нужен — так и не вспомнит никто!

...С жильем я сначала в Питере устроился так: с молодым артистом, тоже театральным новобранцем, сняли две комнаты в большой квартире —



по 200 евро с носа (питерцы уже тогда сильно тяготели к Европе). Чуть меньше этой суммы мне положили оклад в театре, так что приходилось докладывать с «колесных». Парню помогали родители-москвичи, а мне грел карман остаток проданной в Новосибирске машины. Но деньги — это такая грелка, которая имеет тенденцию к быстрому охлаждению. В общем, стало холодать... тут просится продолжение народной присказки, но не в моем случае: поддашь — вообще замерзнешь!

В каждом театре висят десятки приглашений на кастинг — это вроде бы как пробы на роль. Но ходить на кастинги среди театральных актеров не принято: пусть продюсеры сами приходят и смотрят их в спектаклях. Объявления же рассчитаны на новичков и лохов, которые сами бегают по театрам в поисках работы. Я же оказался и тем и другим в одном лице: выбрал название проекта позабористей, уложил в папочку фотографии получше и двинулся за своим счастьем.

Долго бродил по полутемным коридорам — искал на дверях заветную табличку... Вот она, родная! Двенадцатисерийный детективный фильм «Малина в шоколаде»! Шустрая девица, быстро выспросив обо мне, предложила эпизодическую роль охранника за 70 долларов. От подобной суммы мне даже слегка подурнело, поэтому я моментально дал добро.

— Завтра к 10 утра по такому-то адресу, — щебетала девица. — Съёмки будут проходить в кафе, но на самом деле это столовая. Будет ограбление. Грабить будут коробку с конфетами «Малина в шоколаде», где в шоколад вместо малины будут закатаны брильянты. Ваш персонаж при виде грабителя бежит прятаться в подсобку, несмотря на должность... На месте вам все объяснят подробней. Подпишите договор.

Боже, думал я, возвращаясь домой, как на самом деле все просто! 70 долларов — это как раз треть моей зарплаты! За день! Вот так и начинается «жизнь в шоколаде»!

К 10 часам я, одетый в форму охранника и припудренный гримершей, занял свое место на съемочной площадке. Часа два пришлось просто посидеть, ожидая начала съемочного процесса. Последнее, почитай сотое предупреждение: по команде «Мотор!» никому в камеру не смотреть! Наконец команда: «Мотор!» И началось...

Все, кроме главного героя, были набраны из массовки. И все тут же устали в камеру, будто желая там посмотреть еще не снятую «Малину в шоколаде». Пялились туда все, но режиссер почему-то сосредоточил свой гнев на моей персоне. Я стерпел, понимая, что следующего дубля у меня может и не состояться. Выдернут кого-нибудь из толпы и посадят на мое место.

Моя сдержанность принесла результаты. Я опять сидел на своей табуретке. Опять: «Мотор! Начали!» В следующем дубле при виде бандита мой персонаж со страху прикрыл лицо книгой, которую держал на коленях. Это была моя придумка: ведь что делает охранник на работе? Либо телик смотрит, либо читает. Телика в столовой не было, поэтому я достал книгу своего дружка Сашки Черешнева. Совсем свеженькую. Я у него перед отъездом выпросил. «Танец живота», кажется, называется...

Когда в очередной раз вбежал грабитель, вместо того чтобы кинуться в подсобку, я присел и прикрыл лицо книжкой. А на обложке-то суровая физиономия Черешнева и его фамилия на весь разворот. Думаю, сделаю своему приятелю дармовую рекламу на всю страну!

Куда там! Орали все: режиссер, оператор, ассистент... Будто если из «Малины в шоколаде» и не выйдет шедевра, то только потому, что я «Танец живота» народу показал. Хотя «Танец живота» — не в пример «Малине...» — вполне добротный детектив...

...С гонораром меня нагрели наполовину. Вроде как из-за меня много лишних дублей пришлось делать... Но вечером, возвращаясь с этой так называемой работы, я все равно чувствовал себя страшно счастливым: моя жизнь в кино началась! И потом, 35 долларов за день — это вам не 35 рублей...

Человек из свиты

Я, конечно, детально не подсчитывал, но по скромным прикидкам в Москве около 500 «актерских» агентств. Крупных около сотни, остальное — мелочь, однодневки. Но плодятся! Дело-то уж больно выгодное и ни к чему не обязывающее.

Появляется, например, объявление в Интернете приблизительно такого рода: актерское агентство «Звезды Москвы» объявляет о наборе актеров для крупномасштабного телепроекта «Алмазы Сибири»! Часть съемок будет проходить в ЮАР! Желательно иметь загранпаспорта! Заполните анкету, отошлите ее на указанный адрес и, если вы нам подходите, мы вас вызовем! И тысяча претендентов шлет свои данные, а через неделю получает вызов — нужны все...

В этой толпе профессиональных актеров может быть человек пятнадцать — все они в столице не больше пяти-семи дней, некоторые ночуют на вокзалах за неимением жилья и денег: приехали из далеких провинций с уверенностью, что пару недель как-нибудь перекантуются, а там уж и хорошие зарплаты пойдут. Остальные претенденты — откровенные придурки, полагающие, что рождены для сладкой жизни и для этого нужно просто вовремя попасть в объектив.

...Прибываешь по адресу в офис — тебя любезно встречают, предлагают чай-кофе, подводят к гримеру (так как необходимо сделать портфолио для продюсеров, ведь предстоит еще отбор на главные и эпизодические роли), просят внести деньги за работу фотографа и расходные материалы, щелкают дорогим аппаратом: поверните голову, поднимите подбородок, улыбнитесь... все! Сессия закончена, ждите вызова. К вечеру «агентство» сворачивается, рассчитывается за аренду помещения и растворяется в «резиновой» Москве. А особо наглые могут еще позвонить и потребовать перевести деньги на билеты в ЮАР... Но это не агентства, это откровенные жульманы.

Есть и официальные предприятия, зарегистрированные и даже платящие какие-то налоги: многие люди после неудачной кинокарьеры пришли в этот бизнес в надежде подзаработать на более удачливых коллегах и имеют солидную картотеку профессиональных актеров. Главное преимущество таких агентств — связи: они в курсе, где, когда и на какой проект проходит сейчас кастинг, и, имея большое портфолио, вываливают перед директором по кастингу кучу фотографий — выбирайте! Кое-кем могут и заинтересоваться — особенно если лицо покажется знакомым: вызовут на пробы, повертят так и эдак и утвердят.

Оп! — и агентству пошли проценты: за каждый съемочный день актер отдает от 20 % и до... Ведь при подписании договора обычно сначала не торгуешься — сколько дадут, тому и рад.

Но есть и серьезные агентства — зачастую к ним обращаются сами кинопроизводители и просят сформировать актерский состав на тот или иной проект.



Быть на учете в таком заведении не зазорно даже «звездам», хотя у большинства «звезд» — персональные агенты, которые решают все проблемы своих подопечных вплоть до бытовых. Одна моя знакомая «звезда» хвасталась:

— Выбили мне в Нижнем челюсть в кабаке... Три часа ночи, я пьяный, один, ничего не соображаю, при этом челюсть болит жутко — думал, сломали! А вся киногруппа в гостинице, которую я и найти не могу... Набираю номер своей агентши в Москве — и через двадцать минут я в больнице, сплю в отдельной палате сладким сном, а челюсть поставлена на место ее постоянного пребывания...

Я к тому времени тоже начал задумываться о собственном агенте, поэтому и советовался со знатоками. История с челюстью мне особенно понравилась — у самого кости не железные, мало ли что...

Вообще, найти своего агента — дело непростое. И не потому, что выбор велик, — просто агенты любят «звезд»! На них всегда и спрос есть, и ставки у них высокие, следовательно, агенту тоже идет хороший процент. Ну а если тебя в киномире не знают и тариф у тебя мизерный, то никто возиться не станет...

Мне как-то повезло — уж не знаю даже, кого и благодарить: случай, судьбу или ангела-хранителя... Меня заметили и стали приглашать на приличные роли, и соответственно стала расти моя цена. В связи с этим расскажу один случай.

...Звонит мне новосибирский артист, который на тот момент тусовался в Москве уже пару-тройку месяцев, но имел за это время только один съемочный день в «групповке». («Групповка» — это маленькая массовка; понимаете, не масса, а группа, и платят чуть больше, чем массовке, — рублей 500—800; при этом прошу учесть, что смена на съемках длится 12 часов!) Парень он интересный, яркий, колоритный, да и артист неплохой, а вот поди ж ты — не пошло пока! Денег искал на обратную дорогу. Сидим мы с ним обедаем.

— Старик, ты молодец! — похлопывает он меня по плечу. — И в театре знаменитом работаешь, и в кино мелькаешь. Ставка съемочная у тебя, поди, заоблачная!

А я как раз накануне снялся в эпизоде в одном из сериалов: роль небольшая, один съемочный день, но я надавил на продюсера мизерностью своего участия, начал сомневаться в целесообразности, туда-сюда... И вдруг он мне обещает в конце смены 500 баксов! А до этого мой максимум был 300...

И вот я, небрежно пережевывая котлету, на вопрос о ставке отвечаю: мол, 500 долларов. Возникла пауза, после которой мой товарищ разочарованно протянул:

— А почему так мало?

Мало ему! Он что, где-то больше имел? В Голливуде? У него месячная зарплата была в три раза меньше названной суммы! И вот тебе — мало! Наслушаются, посмотрятя черт-те чего...

С чужими деньгами у человека в голове вообще творится всякая чертовщина: скажешь ему, что твоя ставка 500 баксов в день, и он тут же в уме помножит ее на количество дней в году! А после этого смекает, сколько у тебя можно попросить до лучших времен. Если они наступят... А то, что у тебя за год было только три съемочных дня, им в расчет не берется.

...Как-то звонят мне из агентства, с которым я в то время сотрудничал, и приглашают на пробы. Я уже давно без работы, скоро расчет за квартиру, и эти съемки мне — чисто подарок!



Прибыл на «Мосфильм» в указанное время по указанному адресу — в офисе, вальяжно забросив ноги на стол, расположился молодой человек с бородкой, а за соседним столом дама стучит по клавиатуре компьютера.

Я сел напротив вальяжного. Он долго разглядывал меня, потом спросил: «Вы кто?» — Я ответил. — «А кто вас сюда приглашал?»

Вальяжный сразу стал меня раздражать уже хотя бы тем, что не снял ноги со стола. Я посчитал про себя до десяти и ответил: агентство такое-то сказала, что вы ждете меня на пробы. Парень коротко рассмеялся: «Дорогой мой, пробы закончились два дня назад, и актеры на все роли набраны». Я поднялся, двинулся к двери, но женщина за компьютером решила вмешаться:

— Валера! Там еще нужен человек в свиту секретаря райкома. Роль, правда, без слов, проходит как «групповка»...

Я опять начал считать, но остановился на «раз, два» и открыл рот:

— Если вы мне предлагаете роль «человека в свите секретаря», то самого секретаря, вероятно, Джек Николсон играет? Что, уже дал согласие? Кстати, почему у него съемочный день? Я согласен на половину его ставки! Может, посмотрите утверждение?

...Фильм назывался «Назад в СССР», и я сыграл-таки в нем секретаря райкома. А в главной роли был Маратик Башаров, которого в мой первый съемочный день мы ждали к девяти утра, а дождались к шести вечера — с собой у Маратика была батарея вина, пара ведер шашлыка и бездна обаяния! Его сразу все простили, как принято прощать в таких случаях всех «звезд», дали понюхать нашатыря, и мы даже успели снять какую-то коротенькую сцену.

...Шашлык на огне Марат вертел сам, и мясо получилось удивительно вкусным, вина было море — отличное сухое, испанское; стояла теплая майская ночь, небо было набито яркими звездами, и мне даже на какие-то минуты показалось, что жизнь налаживается...

Апостол

«Ментовские войны» — сериал, после которого я приобрел... не скажу популярность, но вполне конкретную узнаваемость.

Позвали меня туда на небольшую рольку бывшего криминального авторитета, а ныне уважаемого бизнесмена Петра Сергеевича по кличке Апостол. Дело было весной, когда я уже окончательно решил попрощаться с Питером и перебраться в Москву — просто в надежде пристроиться хоть куда-нибудь... Невозможно, думал я, чтобы мной не заинтересовался ни один театр! Я только год как стал «человеком без прошлого», и отголоски былых амбиций еще давали о себе знать.

«Человек без прошлого»... Трудно объяснить... Еще вчера ты был полноценной личностью, набитой предыдущими годами жизни под самую завязку: друзья, враги, дети, бывшие жены и нынешние любовницы, достижения и огорчения в работе (в моем случае — зрительский успех и признание), родной город, «где от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице»... И вдруг все это исчезло! В Москве и Питере не было людей, с которыми бы меня связывало общее прошлое. Знакомые, конечно, были, но ты быстро понимаешь, что настоящего, полноценного прошлого у тебя с ними нет. Через полчаса общения с таким человеком становится ясно, что все темы для разговоров исчерпаны.



...Была, правда, у меня в рукаве козырная карта. Когда я в 1970-х гг. начинал работать в Томске, почти одновременно со мной в театре появился Саша, выпускник Иркутского театрального. Описать его внешность трудно, скажу только, что он был красив натуральной мужской красотой. Даже слегка ненатуральной — ресницы его были чуть длинноваты для мужчины. Но девушкам так не казалось. Они ходили за ним гурьбой. Не за известным спортсменом или знаменитым артистом, а просто за этой красотой. Как мы, мужики, бывает, нет-нет да и пройдем за понравившейся женщиной лишнюю пару десятков метров, пока не опомнимся и не свернем в нужном направлении. Но томские девушки, столкнувшись с Сашей на улице, свернуть уже не могли — так и шли за ним, пока Саша не исчезал за какой-нибудь дверью.

Парень он был неплохой, но с одним существенным недостатком: на сцене вся его неземная красота пропадала и он становился артистом обыкновенной внешности и невысоких способностей. Перенеси его тогдашнего в наше сериальное время — и Сашка ходил бы обвешанный всевозможными наградами за выдающийся вклад в отечественный кинематограф и назывался «звездой». А тогда сериалов не было — главный режиссер в конце сезона просто сказал, что не видит для него ролей в будущем, и предложил подумать об увольнении. Была такая хорошая традиция в провинциальных театрах — перед окончанием сезона беседовать с каждым членом труппы и говорить о перспективах...

Саша уволился из Томского театра и уехал в Ленинград, где благополучно затерялся. Но лет через двадцать, при встрече с еще одним персонажем из прошлого, я вдруг узнал, что Саня-красавчик по-прежнему в Ленинграде — живет и процветает, являясь к тому же директором киностудии. Не «Ленфильма», конечно, но тоже ничего себе. В доказательство «персонаж» показал его визитку, а узнав, что я собираюсь в те края, передал ее мне в безвозмездное пользование.

Вот этот джокер и был до времени скрыт у меня в рукаве, а поскольку деньги кончались и не предвиделись — ролей в кино никто не предлагал, — пришла пора предъявить его миру... Предварительно созвонившись и сдержанно выразив радость от предстоящей встречи, я приехал на студию. Секретарша предложила подождать на диванчике у окна.

Я ждал минут сорок. За эти минуты возникало, конечно, несколько раз желание встать и уйти, хлопнув дверью! Было договорено на определенное время, прошел уже почти час! Но, с другой стороны — человек на работе, у него может быть важный посетитель...

Наконец тренькнул звонок и секретарша пригласила меня в кабинет. В кабинете не было никого, кроме моего старого знакомого — лысого как колено и удвоившего свой вес.

Я огляделся: чем он занимался тут, пока я ждал за дверью? Чистый стол — не считая кофейника, чашки и фотоальбома... Телефонного разговора из-за двери тоже не доносилось, я бы услышал... Значит, он просто тупо сидел, пил кофе, пялился в окно или разглядывал фотографии, отсчитывая время, за которое я успею почувствовать его значимость и свою ничтожность?

Мы приобнялись и похлопали друг друга по спинам, выражая восторженное недоумение по поводу нашей внешности, на которую не влияет время.

— Старик, извини, но у меня буквально пять минут — дела!

Но я уже и так понял, что пяти минут будет достаточно. Я задал только один вопрос: нет ли для меня работы? Он ответил очень охотно и развернуто: работы, мол, на студии много, снимается сразу несколько проектов, но за них



отвечают режиссеры и продюсеры, которых интересуют лишь медийные лица. А тебя же никто не знает, старик... Но! Если у тебя полный швах, могу предложить должность ночного сторожа. И при этом можно калымить — по ночам мыть машины... Я сказал, что подумаю.

Закончив деловую часть разговора, Александр (кажется) Николаевич раскрыл альбом и начал тыкать пальцем в фотографии: вот я с женой и ребенком. (Я не понял, кто из них кто.) Чудная девочка, в шестой класс пошла. А в коляске — наша меньшая, ей год всего. Это мой загородный дом. Третий этаж цокольный... Вот мои двое парней от первой жены, сами уже родители. А вот...

— Саня, — извинился я, — мне на репетицию надо. Да и пять минут уже прошло. Свонимся...

...Как говорится, не «очко» меня сгубило, а к одиннадцати туз... Рукава мои были пусты, но ведь волка ноги кормят! «Выкаабкаемся», как говорил артист Альберт Дорожко, подражая Ленину в спектакле «Большевики» на сцене «Красного факела». И выкарабкались!

Однажды небесным громом раздался звонок со студии «Панорама» — и мне предложили эпизодическую роль Апостола. Как раз снимался второй сезон сериала — первый прошел с большим успехом и инвестор решил этот успех повторить. Согласитесь, сериал не из худших, и в первую очередь это заслуга Инны Шлионской, директора проекта по кастингу. Найти Александра Устюгова на роль Шилова — большая удача! Собственно, он и задает тон всему фильму, а прекрасно подобранная к нему компания актеров закрепляет успех. И, конечно, главный сценарист Максим Езупов, будучи в свое время начальником городского «убойного отдела», такого насмотрелся, что железно убедителен в своих историях: кажется, все, что мы видим, списано с природы. Короче, сериал начал свою долгую жизнь, по дороге прихватив с собой и меня. Отснявшись, я думал, что попрощался с ролью навсегда, но мой персонаж заинтересовал сценаристов и продюсеров и продолжил свою жизнь в следующих шести сезонах. Работать было интересно, хотя бесконечные поездки из Москвы в Питер на съемки изматывали.

...Телесериал — такой жанр, что, как бы ты ни упирался, он потихоньку выдыхается. Вот и «Ментовские войны» стали разнообразить фильмами спин-офф*. И вдруг — на тебе! Спин-офф «Апостол»... Снимать будет Павел Мальков, режиссер первого сезона «Ментовских войн», — отлично, парень в теме! Действие переносится в Москву, под фильм создана специальная студия, не придется даже в Питер мотаться — еще лучше!

Сценарий незамысловатый, но приличный: на протяжении всех сезонов Апостола сопровождает начальник личной охраны — старый товарищ и верный человек Олег Нагорный. А в нашем спин-офф этот верный человек предает своего шефа и даже устраивает на него несколько покушений, но законы жанра каждый раз спасают герою жизнь. Мотивы такого коварства не очень убедительны, но хотя бы понятны: быть всю жизнь на вторых ролях, когда нутро тебе подсказывает, что ты премьер, не очень-то комфортно (последние десять лет я и по себе это чувствую, тяжеловато это, я бы сказал) — и вот подворачивается случай... А у Апостола к тому времени объявилась дочка, и он счастлив: одинокий человек обретает семью, делает дочь единственной наследницей и все

* Спин-офф — «побочный» кинематографический продукт, являющийся сюжетным ответвлением от основного сериала или фильма.



дальше уходит от общих дел. Но если устранить отца, то миллионы у девчонки забрать — пара пустяков... Ну и в таком духе. Сериал же...

Но перед началом съемок я вдруг узнаю, что у меня меняется партнер. Как так? Выясняется, что у постоянного исполнителя этой роли на выпуск спектакль, заменить его некем и в этом случае съемки придется задержать на неделю. Господи, неделя! Что она решает? Но только что созданная кинокоманда думает иначе: какая, к чертям, разница, кто там начальник охраны? Сюжет-то остается!

И вот вместо верного и проверенного товарища, моего ровесника, рядом со мной появляется молодой волчара с хищными манерами, при виде которого не остается никаких сомнений, кто главный злодей. А фильм-то только начался! Но зрители уже интригу раскусили, и только старый дурень Апостол совсем ослеп и доверяет мерзавцу — будто это Олег Нагорный из предыдущих серий...

Съемочный период по плану был рассчитан на четырнадцать дней. Мало-вато, конечно, на полтора часа экранного времени с трюковыми сценами... А через несколько дней режиссера Пашу Малькова вообще убрали, а на его место поставили линейного продюсера с режиссерским образованием. Этот молодой энергичный парень лет тридцати сказал, что в отснятых сценах мало динамики, экспрессии и вообще работа шла очень медленно, а вот теперь будем трудиться по-стахановски: то есть если мы снимали за день пять минут, то теперь норма будет — десять.

Когда этот линейный режиссер начал рассказывать, что и как мой персонаж должен делать в кадре, я спросил его: а вы вообще этот сериал видели? Оказалось, что нет. Так вот, говорю, мой герой существует на экране уже семь лет и не может поступать и реагировать так, как вы предлагаете, и делать вид, будто в предыдущих сезонах играл его брат-двойник. Это не мы его придумываем сейчас! Он уже состоялся и живет своей жизнью...

Так, во взаимных противоречиях, мы и продвигались к финалу. Фильм изначально хотели назвать «Старые волки», но так как остальные «волки» сильно помолодели, он вышел как «Апостол. Отцовский инстинкт».

...В нашем деле самое сложное — понравиться близким родственникам. Мама так и не успела как следует разглядеть меня на экране. Даже жаловалась:

— Борька звонит, орет: «Включай телевизор, Толяна показывают!» Я бегом к пульта, щелк-щелк, пока найду нужный канал, тебя уже нету... Ты там скажи им, чтоб тебя подольше на экране держали, а то мать не успевает посмотреть!

Братья лет двадцать с иронией присматривались к моей сценической деятельности. А как еще можно смотреть на пацана, которого они знают с пленок и которого столько раз лупцевали по поводу и без? Но по прошествии указанного времени они таки признали за мной право выходить на сцену и появляться на экране.

Мой старший брат Витька, поклонник сериала, орал в бешенстве: «Кто одел Апостола, по сути миллиардера, в пальто из секунд-хенда? Ты в нем на бомжа похож! Кто держит в гараже, при наличии таких денег, машину, которая полчаса не заводится и разваливается на ходу? Кто там у вас продюсер? Ну нельзя же все украсть и еще при этом пытаться снять фильм!»

Машина «Джип-Чероки» и вправду была старенькая, купленная за двадцать тысяч, как хлам, у нее и вправду на ходу отвалился кусок бампера...

Хотели переснимать, но пожалели время — убедили друг друга, что зритель будет считать, будто бандиты, преследующие машину, отстрелили у нее мало-важную деталь. Просто у этого агрегата на съемках главной функцией было



упасть с обрыва и утонуть. Не топить же новую машину! А брат все переживал, что из-за этой ерунды зритель упустит гениальность исполнения роли главного персонажа...

Потом фильм доделывали-передельвали, досъёмывали-пересъёмывали и в конце концов вместо декабря сдали заказчику в мае. Затем пошли какие-то терки с каналом: то ли сговориться по деньгам не могли, то ли были какие-то внутренние причины, но фильм так и не прошел по НТВ, о чем я, конечно, жалею — несмотря на все недостатки, на фоне идущих по каналам телеисторий он все равно смотрелся бы вполне прилично. Интернет это доказал, собрав около двух миллионов просмотров и положительных откликов...

Фильмом «Апостол. Отцовский инстинкт», по существу, и закончилось мое участие в долгоиграющем телепроекте. Оно, может, и правильно: у всего есть начало и всему должен быть конец. А фильм, глядишь, еще и вынырнет на каком-нибудь канале. Поживем — увидим...

Три маршала

«Воинская» карьера в кино у меня случилась неровная, но головокружительная: после охранника я сразу получил капитана, потом майора, полковника и, наконец, сразу маршала! Маршал — это что-то, даже в кино! Когда на тебе такие погоны, пусть и бутафорские, ты чувствуешь себя как-то значительнее и режиссеру уже неловко на тебя прикрикнуть...

В фильме «Десантный батя» нас, маршалов, сразу в одном кадре случилось трое: Лев Прыгунов (с сердцем Бонивура), Владимир Коренев (человек-амфибия) и я — охранник из «Малины в шоколаде». Вот такая насмешка судьбы. Причем я там у них чуть ли не за старшего — во всяком случае, в центре нашего группового портрета именно я. Оба моих партнера оказались изумительными рассказчиками, и слушать их истории о знаменитых фильмах и легендарных артистах было сплошным удовольствием.

...Снимали сцену в штабе Московского военного округа. Естественно, в воскресенье, когда там народу поменьше, но тем не менее любопытных вокруг толпилось предостаточно. Недалеко от нас, в курилке, небольшой толпой крутились дежурные офицеры, для которых и процесс съемок, и возможность посмотреть на знаменитых артистов (даже я к тому времени благодаря «Ментовским войнам» набрал кой-какую популярность) были исключительной редкостью. Наше обмундирование давно не соответствовало действительности, так как дело в кино происходило в 1960-х гг., а на дворе стоял уже XXI век. Конечно, века никогда не стоят, они всегда идут, но идут так тихо, что кажется, будто они стоят... Офицеры топтались, курили и посмеивались над нами, бывшими сержантами и рядовыми, вырядившимися в высшие армейские чины.

Я тоже решил покурить и направился в их сторону. Кто-то поздоровался, кто-то попытался отпустить шуточку в мой адрес... Я прошел еще несколько шагов вперед, потом вернулся и внимательно посмотрел в их лица. С лиц сбегали улыбки и ощущение вольницы... Я помолчал немного, а потом произнес негромким голосом:

— Я что-то не понял, разве дисциплина в штабе отменена?

Офицеры вытянулись в струнку и хором отчеканили: «Никак нет!» Я еще несколько секунд подержал их в этом состоянии, потом двинулся в прежнем направлении, коротко бросив через плечо:

— Вольно! Курите!

Кто-то нервно хихикнул, но большинство побросали сигареты и стали потихоньку расползаться по служебным местам. Вот казалось бы: все знают, что идут съемки, что перед ними никакой не маршал, а переодетый авторитетный бандит из «Ментовских войн», и даже форму нашей одежды они видели только на фотографиях своих дедов... а поди ж ты, сработало! Видать, даже киномаршал для офицера — начальство... Погоны — это навсегда!

Играйтесь!

Однажды режиссера Романа Балаяна, того, что нашумел с «Полетами во сне и наяву», на пике славы пригласили в театр «Современник» для постановки. Меня тогда среди «современниковцев» не было, а те, кто был, даже названия пьесы вспомнить не могут. Помнят только то, что был Балаян и начал ставить какой-то спектакль. Первые две недели «застольных» репетиций прошли замечательно: читали пьесу, рассуждали, «кто кому дядя», пробовали на вкус коньяк, который режиссеру с завидной регулярностью передавали друзья и родственники из Армении. Нередко репетиции заканчивались в ресторане «Арагви». Все завидовали счастливым, попавшим к Балаяну в постановку. Собственно, сама постановка началась после двух недель этих самых «застольных» репетиций. Пора было вырывать на сцену и начинать действовать. Артисты взяли в руки текст и вышли на сцену, ожидая указаний. Роман сел в зрительном зале, не спеша раскурил сигарету, сложил пальцы наподобие объектива, через эту рамочку обвел всех прищуренным глазом и, наконец, произнес: «Играйтесь!»

Все! Больше он ничего не говорил. Сначала артисты приставали к нему с вопросами, выспрашивали о задачах и сверхзадачах, кто где стоит и что в это время делает, но он лишь кивал в сторону сцены и повторял свое неизменное: «Играйтесь!» Поняв, что режиссура на этом кончилась, ребята стали договариваться между собой, пытаясь развести пьесу, но из такой саморежиссуры редко что получается...

Прошло еще какое-то время. К сидящему в зале режиссеру обратился завпроизводством: мол, Роман Гургенович, декорации, в принципе, готовы, можно выставлять. Роман Гургенович, и без того молчавший всю репетицию, казалось, замолчал вдвойне. Две-три сигареты истлели в его пальцах, прежде чем он принял решение. Затем поднес микрофон ко рту и обратился к артистам: «Триста долярей даю тому, кто декорации сожгёт!» И, не дождавись добровольцев, встал, полон достоинства, с высоко задраннным подбородком прошел в гардероб, надел свое знаменитое меховое пальто и исчез из жизни «Современника» навсегда...



РУССКИЙ ХОР ГЕННАДИЯ ПРАШКЕВИЧА

Прашкевич Г. М. Русский хор: повести. —
Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2018. — 350 с.

Для Геннадия Прашкевича, издающего порой до десятка книг в год, выход очередной книги вряд ли является чрезвычайным событием, но автор этих строк ждал последнюю книгу Геннадия Мартовича более пяти лет — с момента публикации в журнале «Знамя» повести «Упячка-25». Появилась она там в 2012 г. и, кстати, тогда же получила премию Ивана Петровича Белкина.

В книгу кроме «Упячки-25» вошли еще две повести, напечатанные в «Знамени»: «Иванов-48: к вопросу о национальной идее» (2014) и «ЗК-5. (Год Тургенева)» (2015), а также повесть «Русский хор», опубликованная в «Сибирских огнях» и там же получившая премию за 2016 г.

Многогранность дарования Геннадия Прашкевича широко известна, он — фантаст, поэт, переводчик, автор исторических, а в последние годы — биографических книг. Но за всей этой многогранностью и широкой известностью читателю порой трудно «дойти до самой сути» творчества Г. Прашкевича. И вот эти три повести в «Знамени» — как три выстрела в десятку, когда не поражаешься, откуда он все это знает, как он все это делает, а просто погружаешься во что-то давно знакомое, полузабытое, прожитое тобой и вдруг так волшебным образом преображенное рукой мастера! Что-то подобное пришлось испытать полвека назад, когда классик советской литературы Валентин Катаев неожиданно для всех «выпал» из привычного соцреализма в мовизм («Трава забвения», «Святой колодец»).

Но с Прашкевичем (кстати, Валентин Петрович с интересом относился к его ранней прозе) произошло обратное: из фантастического мира («Кормчая книга», «Золотой миллиард», «Костры миров», «Анграм-VI» и многое другое) он вновь вернулся в реальную, даже конкретную жизнь — с узнаваемыми персонажами, реальными названиями регионов, городов, улиц.

«Упячка-25» — это ироническая повесть о том, как делается репутация «великого» художника. Люди нашего поколения помнят советского вождя, гонявшегося с бульдозерами за «педерастами-абстракционистами», но в повести Геннадия Прашкевича этот вождь влюбляется в творение полубезумного художника Кривосудова-Трегубова под названием «Солнце земное»: сухую коровью лепешку на листе картона размером тридцать на тридцать. Позже, при новом вожде, партия в лице «опытного искусствоведа» (!) Галины Борисовны (для людей нашего поколения говорящее имя) привлекла художника к работе над «любимой книгой народа». Результатом чего стала обложка «Малой земли», украшенная двуглавым вождем! Да, именно так, не орлом, а вождем двуглавым! А заканчивается «Упячка-25» горькими размышлениями о будущем. Ну как же так? Разве можно сидеть с модным прозаиком К. за бокалом виски 4 октября 1993 г. на верхней террасе московского бара и смотреть на танки, бьющие по Белому дому?..

Главный герой повести «Иванов-48» — начинающий новосибирский писатель,

автор книжки о знаменитом машинисте Николае Луние, еще практически не печатавшийся, но уже мечтающий о Сталинской премии, неожиданно (в весьма непростом 1948 г.) получает от органов важное задание (сформулированное, конечно, как просьба): определить авторство некоей повести контрреволюционного содержания. Геннадий Прашкевич точен в этой повести и исторически, и географически, в ней все почти документально: Н. А. Лунин (1915—1968) работал во время войны в Новосибирском депо, стал Героем соцтруда и лауреатом Сталинской премии; писатель Иванов проживал в бараке № 7 по улице Октябрьской, к тому же он — не вымышленное лицо, а родной дядя автора. Тем неожиданней развязка: автором «вредной» повести оказывается сам Иванов, это он сам писал ее главы, это он сам посылал написанное товарищу Сталину в надежде, что вождь оценит ее по достоинству, ведь речь в этой повести шла о светлом будущем, которое наступит, когда все нынешние языки переделают в один — сталинский, а все неприглядные фамилии, имена и названия — в радостные и светлые...

Есть над чем подумать.

Повесть «Русский хор», включенная в книгу и давшая ей многозначительное название, на первый взгляд, кажется связанной с названными выше произведениями только географически. Социально и ментально — это разные России. Но...

Конец XVII в. Петр I возводит северную столицу и строит российский флот, учреждает западные «ассамблеи» и отправляет российских «недорослей» на обучение в Европу, тогда как в глубине России («средняя полоса»), в деревне Томилино, в той, что рядом с Нижними Пердунами (о Верхних никто не слышал), вдовая помещица прелюбодействует с нанятым для помощи по хозяйству (!) французом, а когда тот изменяет ей с крепостной девкой Матрешей, то наказывает плетью не его, а Матрешу. Все как

всегда. Из нового мира в Томилино доносятся только слухи. Но все увиденное в родных местах горько и глубоко ранит чистую душу юного племянника хозяйки, Алексея. И думаешь: что же с ним может произойти такого, что вдруг приблизит Алексея к нам не только этим (пока чисто детским) протестом против жестокости и несправедливости?

И тут после размеренного, кропотливого, словно вязание на спицах, письма, когда удивляешься каждой фразе, начинается самый настоящий детектив (в данном случае исторический), когда уже невозможно отложить книгу, когда читаешь и читаешь и ждешь развязки. Ведь дело в том, что недоросль Алеша Зубов опасно (даже преступно) похож на царевича Алексея, осужденного за измену и умершего (убитого?) в 1718 г. в Петропавловской крепости. К счастью, у двойника убиенного (умершего) царевича оказалась более счастливая судьба, несмотря на царское повеление отправить его на верную смерть командиром мелкого парусника, шнявы, против целой шведской эскадры. Спросите, а при чем тут хор, русский хор? Да при том, что Алексей Зубов с детства слышал в себе эту вечную, всех нас пронизывающую музыку, он жил этой музыкой, он мечтал о ней, и вот, потеряв в бою свою шняву, но благодаря морской смекалке захватив шведский фрегат, Алексей Зубов при входе в Неву выстраивает на шканцах хор из своих «матрозов», и они... поют! Они исполняют виватный гимн, сочиненный самим Зубовым! Так сбываются мечты. Не миллион украсть, а добыть стране славу. И неважно, что «слова виватного гимна, сочиненные им, не во всем звучали пристойно».

Тут и обнаруживается связь того, что было, с тем, что есть, и того, что есть, с тем, что будет. Ведь нигде (пишет Геннадий Прашкевич), ни в одной стране мира прошлое не зависит так сильно от будущего, как в России.

Владимир Никифоров

«КНИЖНАЯ СИБИРЬ»

15—17 сентября 2017 г. в ГПНТБ прошел ежегодный Международный фестиваль «Книжная Сибирь». Как всегда, фестиваль продемонстрировал издательские достижения, позволил читателям пообщаться с известными писателями, а еще неизвестным писателям — подрасти в мастерстве благодаря семинарам и мастер-классам. Но главными героями праздника были, конечно, книги. С некоторыми новинками, привезенными издателями на фестиваль, мы хотим вас познакомить.

Коркина слобода. Краеведческий альманах российского Приишимья. Вып. 13. — Ишим: ОАО «Тюменский издательский дом», филиал «Ишимская типография», 2016. — 216 с.

Об истории можно говорить отрешенно — языком статистики, бесстрастных цифр и сухих фактов. А можно приблизить ее к нам, показав события глазами современников, разбавив суконный язык документов живой человеческой речью. Именно такая — живая история возвращается к нам на страницах краеведческого альманаха «Коркина слобода», который ежегодно выходит в Ишиме.

Коркина слобода — прежнее название г. Ишима Тюменской области. Города старинного и славного: близ него провел детство автор «Конька-горбунка» П. П. Ершов, здесь когда-то играла красками знаменитая на всю Сибирь Никольская ярмарка, отбывал ссылку поэт-декабрист А. Одоевский, отсюда шла пешком аж в самый Петербург — просить императорской милости — отважная Параша Луполова...

Альманах «Коркина слобода» издается Ишимским историко-художественным музеем с 1999 г. Его авторы — историки, искусствоведы, журналисты, филологи и общественные деятели, но журнал адресован не столько научным работникам, сколько обычному читателю,

для которого история родины — малой или большой — все равно что история собственной семьи, рода: вызывает такую же гордость и радость или так же горько болит. Недаром на страницах альманаха мы находим выдержки из подлинных писем, личных дневников, воспоминания людей, которые стали очевидцами исторических событий или же просто сохранили память о прежних временах, давнем укладе жизни в Сибири. Каждый материал подробно иллюстрирован: архивные и современные фотографии, таблицы, схемы, сканы документов — все это помогает не только получить дополнительную информацию, но и погрузиться в эпоху, лучше понять и почувствовать ее.

На сегодняшний день вышло уже 13 выпусков «Коркиной слободы», и каждый из них открывает неизвестные страницы истории Приишимья и Западной Сибири, а порой заставляет взглянуть на знакомые вроде бы факты под новым углом.

Ряд материалов 13-го выпуска посвящен 100-летию Первой мировой войны — «великой и забытой». Казалось бы, как могла эта война, сражения которой разворачивались большей частью в Европе, коснуться небольшого сибирского города? Но и отсюда солдаты уходили на фронт — и слали весточки родным; а потом сюда потянулись беженцы, пригнали военнопленных, и вот уже один из них

выводит угловатыми готическими буквами послание по-немецки своей «нежно любимой Мари» на открытке с видом Ишима... Далекая война предстает перед нами в документах, личных историях и чудом сохранившихся письмах благодаря исследованиям А. А. Валитова, В. С. Сулимова, Л. Ю. Оленьковой, Г. А. Крамора.

В 2016 г. исполнилось 95 лет со времени Западно-Сибирского восстания 1921 г. Несмотря на то, что это было одно из самых масштабных выступлений против власти коммунистов, оно на удивление мало изучено. Авторы «Коркиной слободы» В. А. Шуляков, В. И. Шишкин и К. С. Иванов анализируют начало и распространение восстания, его ход, причины его поражения, рассказывают об особой роли казачества, знакомят читателей с новой концепцией Западно-Сибирского мятежа в современной исторической науке.

Третья знаменательная дата, которую не обходит вниманием этот выпуск альманаха, — 75-летие с начала Великой Отечественной войны. Эта тема в материале К. С. Иванова также подается в «человечном» ключе — через описание быта ишимцев в военные годы.

Кроме перечисленного, в этом выпуске можно найти статьи об истории памятников культуры, о православной жизни края, об Ишимском историко-художественном музее и, конечно, исследования биографии и творчества П. П. Ершова.

Дмитриенко Н. М., Черняк Э. И. В Томске в 1917 году: экскурсионный маршрут. — Томск: Издательский дом Томского государственного университета, 2017. — 184 с.

Жанр «иллюстрированной истории» в последнее время становится все более популярным. Авторы исторических книг

стараятся снабдить свой рассказ большим количеством визуального материала: фотографий, иллюстраций, инфографики — и выбрать как можно более наглядный и занимательный способ преподнести факты читателю. Дата «2017», вековой юбилей Октябрьской революции, заставила многих наших современников мысленно вернуться на сто лет назад, чтобы еще раз проанализировать те далекие события, осмыслить их значение и понять, насколько неизбежно было то, что случилось.

Название работы Н. М. Дмитриенко и Э. И. Черняка — «В Томске в 1917 году: экскурсионный маршрут» — сразу настраивает на небольшое путешествие, а эпитафия из поэмы А. Блока «Двенадцать» — на то, что оно вряд ли будет развлекательным.

К началу 2017 г. Томск был городом с населением около ста тысяч человек и входил в двадцатку самых многонаселенных городов Российской Империи. Он являлся административным центром крупнейшей в России Томской губернии; кроме того, в нем сосредоточилось отраслевое управление сферами хозяйства, образования и культуры Сибири и Казахстана. Это был также крупнейший экономический центр Сибири, где процветали торговля и промышленность, крупный узел железнодорожного и водного транспорта, который поддерживал постоянную связь с окружающими территориями и с центром империи посредством телеграфа и телефона. Здесь были открыты первые в азиатской части России высшие учебные заведения: университет, технологический институт и Сибирские высшие женские курсы... Словом, это был большой, быстро развивающийся город, в котором совмещались все достижения и противоречия российской жизни начала XX века.

Во вступительной статье авторы рисуют портрет Томска — в котором наряду с властями и общественными, в том числе

и благотворительными, организациями действовали и оппозиционные силы, как явные, так и подпольные, — и кратко рассказывают о том, как развивались революционные события в городе на протяжении всего 1917 г.

А далее начинается собственно экскурсия, и читатель проходит по улицам Томска, где за масками современности прячется история. Вот Зрелищный центр «Аэлита» на проспекте Ленина — бывшая Городская Дума и управа. Здесь было принято решение о признании Временного правительства в Петербурге. Вот здание детского технопарка «Технариум» в переулке Нахановича: здесь была типография, в которой печаталась газета «Сибирская жизнь» — тогда информационный рупор Сибири. В марте 1917 г., когда в Петербурге кипели революционные страсти, ее тираж вырос чуть ли не вдвое и разбирался мгновенно. Кстати, именно в «Сибирской жизни» чуть позже, летом, вышла статья-предупреждение Г. Н. Потанина об опасности большевизма, поставившего «доктрину, выработанную человеческим умом, выше жизни».

Так вместе с авторами мы идем по революционному Томску, вглядываясь в очертания зданий и уличные сцены на старых фотоснимках, просматривая пожелтевшие газеты и, может быть, впервые видя лица тех, кто участвовал в переломных событиях начала прошлого века. Маршрут по городу как будто превращается еще и в музейную экскурсию: а где еще можно увидеть столько архивных материалов, благодаря которым прошлое так ясно встает перед глазами?

И хотя в название книги вынесен город, речь в ней, конечно, идет в первую очередь о людях. Читатель, который задается вопросами, какими были наши предки, во что они верили и чего хотели, протестуя против сложившегося порядка вещей, возможно, найдет многие ответы в этой книге.

Маранин И., Осеев К. Новосибирск: Пять исчезнувших городов. Книга I. Город-вестерн. — 2-е стер. изд. — Новосибирск: Свиныин и сыновья, 2017. — 332 с.

Знаете ли вы, что до 1930-х гг. названия Ново-Николаевск и Ново-Сибирск можно было писать через дефис? А то, что хвост сгоревшего в новосибирском аэропорту Ту-154 «снялся» в фильме А. Митты «Экипаж» (1978)? А что один из героев Жюль Верна проезжал через земли, где потом был основан наш город? Много подобных интересных фактов можно найти уже в первой части пятитомного цикла «Новосибирск: Пять исчезнувших городов», которая называется «Город-вестерн». Вот так лихо авторы приравнивали Сибирь к Дикому Западу... Впрочем, основания у них для этого есть: кто только ни селился на этих землях и что тут только ни происходило в те времена, когда еще не было столь привычных для нас мостов через Обь.

То, что Новосибирск многолик, знают и его жители, и гости. Но оказывается, за время своего существования он несколько раз так сильно менял свой облик, что, по сути, каждый раз рождался заново, совершенно другим. Вот почему, как считают авторы, можно говорить о Нулевом городе (собственно, еще не городе, конечно, а поселении на месте, где он потом возникнет), о Первом городе (том самом «вестерне», существовавшем до 1921 г.), Втором, Третьем, Четвертом и Пятом, у каждого из которых — свое лицо и свой характер.

Несмотря на легкость и даже некоторую разухабистость стиля, книга содержит много серьезного, порой даже трагического. История не бывает однообразной, и жизнь состоит не из одних триумфов. Но Новосибирск — молодой город, его ждет еще много хорошего, а потому и авторы говорят о нем с юмором и оптимизмом.

«Ново-Николаевск родился в ковбойской шляпе, — утверждают они. — Первоначально это был поселок, смахивающий на городки американского Дикого Запада. Свобода, доходящая до анархии, перестрелки и даже нападения на поезда, постоянное броуновское движение людских масс, вечные проблемы жителей с законом, вольность и авантюризм. Даже свой “нехороший шериф” был — полицмейстер Бернгардт Висман. Ковбойская шляпа города сгорела во время пожара 1909 г., и с тех пор город носил на голове солидный буржуазный котелок. Пока не началась война офицерских фуражек с краснозвездными буденовками, а за ней — эпидемия тифа. Но обо всем по порядку».

Именно так, по порядку, и следует читать книги цикла «Новосибирск: Пять исчезнувших городов». Иначе, чего доброго, пропустим что-нибудь интересное.

Маранин И., Осеев К. Новосибирск: Пять исчезнувших городов. Книга II. Город красного солнца. — Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2017. — 452 с.

Во второй книге цикла «Новосибирск: Пять исчезнувших городов» рассматривается история города с 1921 по 1941 г. После того как Сибирь и всю страну перестали сотрясать войны, настала пора восстанавливать разрушенное и строить новое. Это было время великих планов, смелых фантазий и тотального отречения от старого мира. Что пророчили Новосибирску градоначальники и архитекторы? Каким он мог стать — и почему не стал? И каким он действительно был в эти годы — город, которого мы уже не увидим?..

«Город красного солнца» — некая социальная утопия, концепция идеального социалистического поселения. Она возникла не на пустом месте: еще в XIX веке некоторые архитекторы предлагали кардинальные преобразования городского

пространства. А если заглянуть еще дальше в прошлое, то там найдутся проекты и Томаса Мора, и Томмазо Кампанеллы... Идея, в сущности, правильная и перспективная. Беда в том, что за ее реализацию — в России вообще и в Новосибирске в частности — взялись люди, которые, стремясь построить новое будущее, на деле представляли себе это будущее довольно смутно. Но следы их удачных и не очень удачных попыток остались в облике нашего города — в Центральном, Ленинском, Первомайском, Дзержинском районах...

Кроме рассказа об архитектурных опытах, книга содержит интересные факты из жизни горожан в 1920—1930-х гг. А в конце авторы приглашают читателя пройтись по Красному проспекту — от площади Сталина до Дома Красной армии. Думается, не стоит упускать такую возможность.

Ысыях в благословенной долине Туймаада / [сост. В. И. Бочонина; авт. текстов: Е. Н. Романова, У. А. Винокурова, А. С. Федоров и др.]. — Якутск: Бичик, 2017. — 120 с.

Ысыях — праздник летнего солнцестояния у якутского народа, включающий в себя множество обрядов: алгыс (слова благословения), поклонение Солнцу, кумысопитие, массовый круговой танец осуохай, поклонение духу земли, традиционные игры и состязания боотуров. В древности он фактически знаменовал для якутов начало нового года, поэтому большая часть ритуалов служила для того, чтобы призвать удачу, обеспечить изобилие и плодородие в наступающем году. С 1991 г. Ысыях официально отмечается в Республике Саха как национальный праздник и собирает тысячи зрителей и участников.

Вот уже двадцать лет самый яркий фестиваль проходит в легендарной до-

лине Туймаада, в живописной местности Ус Хатын. По преданию, именно в этом месте Элэй, прародитель народа саха, некогда чествовал светлых богов, спускавшихся с неба. Сейчас здесь находится грандиозный комплекс, в котором более двухсот обрядовых центров, в том числе ипподром для ритуальных конных состязаний и Центр кумысопития, вмещающий до 15 000 гостей. Праздник в долине Туймаада не раз попадал в книгу рекордов Гиннеса за самые массовые ритуалы (например, в 2011 г. здесь исполняли музыку на варгане одновременно 1344 хомусиста, а в 2012 г. в круговом танце осуохай участвовали 15 293 человека).

В 2017 г. юбилейный, XX-й Ысыах Туймаады совпал еще с одной важной датой — 385-летием со дня основания Якутска и вхождения Якутии в состав Российского государства. В честь этого в Якутске издан красочный альбом, в котором ученые-этнографы и работники культуры Республики Саха рассказывают об основных канонах празднования Ысыаха, об архитектурных и культовых строениях местности Ус Хатын, о значении праздника для сохранения национального самосознания народа саха. Тексты приведены на двух языках: якутском и русском.

Альбом снабжен приложениями: картой местности Ус Хатын, выкройками национальной праздничной одежды и DVD-диском с аудио- и видеоматериалами.

Тюрина И. П. А. В. Лаврский. Наследие: бесценный дар в художественную сокровищницу Томска. — Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016. — 59 с.

Книга выпущена в год 120-летия Томского политехнического университета и, по словам ректора ТПУ П. С. Чубика, «послужит своеобразным

памятником ученому, чье имя по праву входит в золотой фонд нашего университета и горно-геологической школы России». Авторы действительно посвящают А. В. Лаврскому первую главу, но книга все же не о нем, а о его щедром дарении томичам, который сейчас хранится в Томском областном художественном музее.

Аркадий Валерианович Лаврский — первый из когорты профессоров горного отделения Томского технологического института Императора Николая II, ныне Национального исследовательского Томского политехнического университета. Ему принадлежала коллекция живописных семейных портретов: девять полотен, на которых запечатлены три поколения его родственников по линии жены. По мнению экспертов, эта коллекция обладает несомненной художественной ценностью как серия купеческих портретов середины XIX в.

Шесть полотен принадлежат кисти известного академического живописца П. Ф. Плешанова (он, например, принимал участие в росписи храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Петербурге, выполнял заказы для царской семьи, его картины есть в Эрмитаже и Государственном Русском музее). Остальные портреты — работы неизвестных провинциальных художников.

Сотрудникам музея удалось точно установить имена людей, изображенных на портретах (по непонятной причине первоначально полотна значились в музейных инвентарных книгах как портреты неизвестных лиц), и достаточно полно реконструировать их биографии. Это члены богатой купеческой династии Плешановых. За каждым полотном стоит человеческая жизнь, а за ней, в свою очередь, — эпоха. Музейное расследование, проведенное авторами книги, напоминает не столько детектив, сколько кропотливую реставрацию сложного старинного узора, полустертого временем, но не становится

от этого менее увлекательным. Напротив, есть что-то завораживающее в том, как нарисованные незнакомцы постепенно обретают характер и судьбу.

Фамильная коллекция портретов, дар А. В. Лаврского, пополнила художественную сокровищницу Томска, а страницы семейной истории Плешановых теперь по праву вписаны в историческое полотно российской жизни XIX—XX вв.

Омск — 300 лет: историко-культурологический, литературно-художественный альманах «Тобольск и вся Сибирь», кн. № 27 / гл. ред. Ю. П. Перминов; оформление Г. И. Метченко. — Тобольск: Издательский отдел ТРОБФ «Возрождение Тобольска», 2016. — 896 с.

Это солидное, богато иллюстрированное и прекрасно оформленное издание можно читать и перелистывать практически с любого места. В нем современность все время переплетается с историей: вот черно-белые фотографии омских улиц сто лет назад — а вот, можно сказать, те же улицы, но уже на ярких полотнах со-

временных художников. Здесь — академическая статья о городском самоуправлении в начале XX в., через несколько страниц — стихи поэта середины века Роберта Рождественского «Тогда мы жили в Омске...», а еще дальше — чудеса под микроскопом... И в этом чередовании и переплетении видится образ города, уже много повидавшего, прочно пустившего корни на берегах Иртыша, но не ветхого и усталого, а вполне энергичного: он строит, пишет, поет, исследует — словом, ежеминутно творит свою новую жизнь.

Составители альманаха постарались показать Омск с самых разных сторон. Его история дана не только в документах и научно-популярных статьях, но и в художественных произведениях. Так же и культура, наука, промышленность, искусство, православная жизнь... Омск успел немало накопить и осмыслить за прошедшие триста лет, и альманах прекрасно это отражает.

Книга издана общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» и региональным благотворительным фондом «Духовное наследие» при финансовой поддержке правительства Омской области.

Лариса Подистова



Максим УМБРА

СИБИРСКАЯ ПАЛИТРА НИКОЛАЯ ДОЛГОВА

Пейзажисты — счастливое племя: образ родины у них впечатан в сетчатку. Русский пейзажист — патриот автоматически. Ведь чтобы посвятить жизнь отображению нашей скромной, неприметной, как простая холстина, природы, надо ее очень любить.

Так и Николай Харитонович Долгов без остатка отдал свое сердце художника «среднесибирской полосе» России. Родился он в 1930 г. в деревне Михайловке Омской области в крестьянской семье. Девятнадцатого января, на Крещение, отец собрался ехать за святой водой в соседнее село, где была церковь. Но жена его удержала: «Распрягай, Харитон, я рожать буду». Появившийся на свет мальчик был пятым ребенком.

...В декабре неурожайного 1936 г. большое семейство Долговых отправилось в далекое путешествие из прииртышской деревни в Кемерово — молодой индустриальный город на реке Томи. Маленький Коля впервые увидел железную дорогу. «Своим детским умом я представлял ее как широкое полотно из листов кровельного железа, прибитых гвоздями к земле», — вспоминает художник.

Семеро новоприбывших поначалу поселились в бараке у бабушки с бабушкой, где уже жили пять человек родни, — все в одной комнате, правда большой. В первый класс Коля Долгов пошел в 35-ю школу, где впоследствии учился бу-

дущий космонавт Леонов. Тут началась война. Время наступило голодное. Неподалеку от барачников жители садили картошку и сеяли просо. Мальчишки играли в Александра Невского (фильм Эйзенштейна появился на экранах в 1938-м), бились на деревянных мечях. Через игру они проникались духом народной войны и патриотизмом. А старшие Колины сестры работали на военном заводе. На опасных производствах нередко случались пожары и взрывы с многочисленными человеческими жертвами.

И вот при таких внешних обстоятельствах четырнадцатилетний подросток начинает ходить в изостудию при районном Доме культуры. Студию вел замечательный педагог Виктор Михайлович Петровский. Учились ребята всерьез — писали маслом. Дефицитные краски доставали где придется: покупали у родственников погибших художников-фронтовиков, более взрослые студийцы заказывали на заводе-изготовителе. Сейчас умудренный годами живописец сам удивляется, как ради маленького этюдника они топали босиком — берегли обувь! — за двенадцать километров к деревне Верхотомке. А любили природу и искусство! Да-да, уже тогда эти бедно одетые, полуголодные дети войны воспринимали дело, которым занимались, как служение, как Искусство с большой буквы.

Поразительно, как в суровое, трудное время люди тянулись к красоте. В одном бараке с Долговыми жил Борис Чедов. Изостудию он не посещал — был самоучкой. Работал же простым электриком. Можно ли себе представить в наши дни, чтобы заводской рабочий занимался живописью? У рисующей молодежи пользовалось популярностью местечко (называемое в обиходе «тысячетонкой»), куда ходили... смотреть закаты. «Там был простор, широкий горизонт и необыкновенно красивые закаты, — делится воспоминанием художник. — В такую даль мы шли — за впечатлениями!»

Колины родители, которые сами были совершенно неграмотны, против увлечения сына искусством не возражали, а когда продан его первый «ковер», даже очень обрадовались. Расписанный им масляными красками холст изображал лебедей — весьма востребованный в ту пору сюжет.

Уже после войны семнадцатилетний юноша познакомился в изостудии с симпатичной девушкой Тоней, которая восемь лет спустя — как терпеливы и преданны люди того поколения! — станет его женой. На эти годы пришлось служба в армии, ее учеба в ленинградском институте и его — в Нижнетагильском, а затем — в Сталинабадском художественном училище.

«Когда я решил поступать, — рассказывает Николай Харитонович, — в училище в Нижнем Тагиле (откуда со второго курса его забрали в армию. — *Прим. авт.*), у меня уже были любимые художники. Очень нравились первые русские импрессионисты Коровин и Грабарь, Левитан, Кончаловский. Живопись их была цветная, «мазистая». Сокурсники меня в шутку прозвали — тагильский Коровин».

А перед тем как ехать на Урал, он показал свои этюды в областном товариществе художников. Там к парню отнеслись доброжелательно и даже дали возмож-

ность подзаработать денег на дорогу, поручив выполнить несколько копий хрестоматийных натюрмортов и пейзажей. Тогда же Коля свел знакомство с молодым Виктором Зевакиным, впоследствии ставшим народным художником России. Забегая вперед, отметим, что среди кемеровских живописцев его творчество произведет на выпускника наиболее сильное впечатление.

Годы учебы пролетели. Учился Николай Долгов самозабвенно. На пятом курсе (в столице Таджикистана Сталинабаде) из экономии жил с товарищем... в курятнике, куда приходил только спать. А перед защитой диплома трудолюбивым студентам разрешили ночевать прямо в мастерских.

Впрочем, попадались в рядах учащихся и не слишком усердные. Один как-то поделился «секретом», что летом пересыпает кисти дустом. На недоуменный вопрос «зачем?» простодушно ответил: «Чтобы моль не ела». Для Николая, который и на каникулах не оставлял кистей и красок и продолжал напряженно работать, это звучало дикостью. Училище он окончил в 1957 г. с отличием и вернулся в Кемерово, где его с нетерпением ждала жена с годовалым сыном...

Трудовая книжка живописца Долгова на редкость скучна. Если не считать армейской службы, там фактически единственная запись, ведь после завершения профессионального образования он более тридцати лет проработал в одной организации — Кемеровском отделении Художественного фонда СССР (позже — РСФСР).

Зигзаг судьбы проявился в том, что на заре творческой карьеры (начало 1960-х) Долгову случилось вести изостудию в ДК Кировского района — в тех самых стенах, где когда-то подростком он взял в руки кисть. Но после того как молодому перспективному художнику дали мастерскую, он больше не преподавал.

В 1959 г. Долгов с несколькими этюдами впервые принял участие в большой

областной выставке. Потом этих выставок будет много — вплоть до зональных, проходящих раз в пять лет, которые тогда назывались «Сибирь социалистическая» и охватывали полосу городов от Омска на западе и до Иркутска на востоке. А пока случались и творческие неудачи, были эксперименты с жанровой графикой, однако постепенно художественные предпочтения определились: пейзаж. Видимо, зори военной поры, которыми ходил любоваться худой впечатлительный мальчик с заводской окраины, не погасли в его душе.

Несмотря на то что Николай Долгов — горожанин, городские мотивы в его творчестве почти не оставили следа: в самый продуктивный период работы он добрую половину года проводил среди деревень, лесов и полей. Что такое будни художника, выбравшего своим уделом пейзаж? Это свинцовая ноша этюдника, белый холст парусит на ветру, за плечами котомка с нехитрым провиантом — и бесчисленные версты по проселкам, лугам, перелескам, да в зной, да в стылость поздней осени или ранней весны... Но пронзительная прелесть родной земли, воплощенная в красках, искупила всё, все тяготы и трудности судьбы.

Печальный нежно-палевый осенний косогор; полевая дорога, убегающая в седую зелень овсов; сиреневый апрельский снег и в тон ему розовое марево набухающих березовых почек. Вот лимонный поток солнечного света хлынул через старые ворота во двор и прямо-таки слепит зрителя. В характерной кофейно-оливковой гамме апреля написан створ Томи и берега, кулисами уходящие к горизонту. А балахоновские холмы суровым колоритом напоминают древние курганы из какого-то забытого эпоса.

Надо сказать, что в пейзаже особую сложность представляет зеленый цвет. Трава зеленая, кустарник зеленый, деревья зеленые. У иных живописцев зе-

леный зачастую получается одинаковым, среднеарифметическим. «Зеленуха» — так пренебрежительно говорят они, для них это — рутина. «А я никогда не боялся зеленого», — смеется Николай Харитонович. Кстати, белый цвет (зиму) тоже писать трудно. Мастер вспоминает, что еще в студии преподаватель Петровский специально ставил, например, такой натюрморт: на белой скатерти — белая чашка, белая тарелка.

Из Старой Ладogi был привезен небольшой серенький этюд «Зимка». В нем изумительно переданы тончайшие оттенки серого в цвете неба, снега и особенно сарая, возле которого притулилась запряженная в сани лошадь. Полное представление об этом сложном цвете вымытой дождями древесины может дать, конечно, только оригинал. «Цвет времени и бревен», — сказал когда-то поэт Бродский. Вечный русский сюжет: зимняя деревня, сугробы, заснеженные крыши, сараюшки. И покорная лошадка — на такой, наверное, Харитон Долгов в Крещение 1930 г. и собирался за святой водой...

Часто в пейзажах Долгова человек присутствует незримо и в то же время органично. Монументальная бревенчатая кузница показана им как храм труда. Пашня, будто черная река, омывает околок. Из сенок, высланных могучими плахами, распахнута наружу дверь, и в проеме мреет деревенская идиллия: золотистый лужок, ограда, домики гуськом и далекий лес. Есть у художника полотно — красочный гимн сенокосу: широкие цветные ленты живых и скошенных трав покрыли увалы декоративным узором. А избенка на высоком яру смотрится словно кораблик в клубящемся океане облаков.

Эпический холст «Среди пашен» изображает клин березового острова посреди зяби. Земля вспахана под весенний сев. Ее шоколадные, темно-синие, фиолетовые тона, ассоциирующиеся с плодороди-

ем и будущим урожаем, удивительно гармонируют с охристо-бежевыми красками умирающей травы и листвы. Плотный фронт сизых октябрьских туч навевает думу о близкой зиме. И вся эта холодноватая цветовая гармония символизирует круговорот времен в природе и тесно связанный с ним круговорот крестьянского труда...

Работы Долгова колористически богаты и очень разнообразны; в довольно обширном творческом наследии в сотни полотен практически нет похожих. К слову, сам автор многие свои произведения уничтожил, считая несовершенными. Но такова требовательность художника, это его личная оценка. Профессиональным сообществом его заслуги как живописца общепризнанны: на протяжении десятилетий он был постоянным участником городских, областных и региональных выставок. Только зональных («Сибирь социалистическая») на его счету четыре или пять, а еще — представительные выставки «Художники Кузбасса» в столич-

ных городах: Ленинграде (1979) и Москве (1987).

Жизнь сложилась так, что ему повезло трудиться в коллективе незаурядных личностей, среди которых блистали такие самобытные мастера пейзажа, как В. С. Зевакин, Н. И. Бачинин, Н. М. Шемаров. Неоднократно Долгов получал вызовы и плодотворно работал в известных домах творчества страны: в Старой Ладоге, Горячем Ключе. Он обычно приезжал на два месяца, писал этюды, общался с более маститыми собратьями по цеху, набирался впечатлений, приобретал новый опыт. Эти поездки много дали для профессионального роста кемеровского живописца.

Сегодня его произведения находятся в учреждениях культуры и частных собраниях сибирских городов и весей, а некоторые даже попали в Азербайджан и Италию. Н. Х. Долгов — ветеран труда. Он приближается к почтенному 90-летнему возрасту и уже не берет в руки кисти. Однако цвет воспринимает по-прежнему остро...



АВТОРЫ НОМЕРА

Зазубрин Владимир Яковлевич (1895—1937) — русский писатель. Родился в рабочей семье, учился в гимназии, участвовал в большевистском подполье. В 1916 г. был арестован за революционную пропаганду. В 1919 г. мобилизован в колчаковскую армию, впоследствии перешел к красным. Один из крупнейших прозаиков Сибири. Автор романа «Два мира», повестей «Щепка», «Бледная правда», «Общезитие». Главный редактор «Сибирских огней» с 1923 по 1928 г. В 1937 г. арестован как враг народа и расстрелян.

Михня Святослав Борисович родился в 1975 г. в Твери. Окончил исторический факультет Тверского государственного университета. Работает журналистом. Автор трех поэтических сборников и нескольких краеведческих книг. Живет в Твери.

Москвин Игорь Владимирович родился в 1963 г. в Горловке Донецкой области. Окончил Ленинградский механический институт. Работал технологом, мастером, начальником цеха, главным инженером. Публиковался в журнале «Искатель». Автор цикла романов и рассказов о сыскальной полиции 70-х гг. XIX в. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Живет в Санкт-Петербурге.

Мухачёв Антон Юрьевич родился в 1976 г. в Норильске. Окончил Московский горный университет. Был участником националистических движений ДПНИ (Движение против нелегальной иммиграции) и «Северное братство». В 2011 г. обвинен в экономическом преступлении и экстремизме (приговор — 9 лет лишения свободы). Виновным себя не признал. Публикуется впервые.

Никифоров Владимир Семенович родился в 1943 г. в поселке Подтесово Красноярского края. Работал матросом несамоходного судна, слесарем, шкипером рейда, диспетчером в управлении пароходства, начальником смены в речном порту. Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. Кандидат технических наук, профессор. Автор восьми книг прозы. Член Союза писателей России.

Подистова Лариса Николаевна родилась в 1967 г. в Алма-Ате. Окончила Новосибирский государственный университет, филолог. Много лет преподавала русский язык и литературу, а также иностранный язык в школе. Стихи и проза публиковались в журналах «Новосибирск», «Невский альманах», «Дальний Восток», «Север» и др. Член Союза писателей России.

Сайдаков Виктор Иванович родился в 1951 г. в пос. Сибирском Новосибирской области. Окончил Новосибирский пединститут и военное училище. Работал в школе, служил рядовым в ГСВГ, в военных газетах и жур-

налах. Уволился в запас полковником. 10 лет возглавлял департамент МА «Сибирское соглашение», сотрудничал с радио «Слово». Пишет стихи и прозу. Публиковался в журналах «Воин России», «Новосибирск», «Дальний Восток», «Сибирские огни». Живет в Новосибирске.

Тарковский Михаил Александрович родился в 1958 г. в Москве. Окончил Московский педагогический институт. Работал полевым зоологом, охотником-промысловиком. Публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник» и др. Лауреат литературных премий «Ясная Поляна» (2010), им. А. Дельвига (2015), им. В. Шукшина (2016) и др. Главный редактор альманаха «Енисей». Живет в пос. Бахта Красноярского края.

Теплякова Мария Сергеевна родилась в 1982 г. в Калининграде. Окончила философское отделение исторического факультета Калининградского государственного университета. Выпускница Московской школы звонарей Ильи Дроздыхина, ученица легендарного мастера колокольных звонов Валерия Гаранина. Работает певчей и звонарем в храме Успения Божьей Матери на Князьем дворе (г. Суздаль). Автор трех поэтических сборников. Стихи переводились на английский и польский языки. Член Союза писателей России и Союза художников народного искусства. Живет в Суздале.

Уденский Анатолий Ефимович родился в 1952 г. в Акмолинске. Окончил Новосибирское театральное училище, работал актером в театрах Томска и Павлодара. С 1982 г. работал в театре «Старый дом» в Новосибирске, где начал заниматься режиссурой и поставил спектакли «Лес», «Семейный портрет с посторонним», «Гольф король» и др. С 2005 г. — в московском театре «Современник». Печатался в периодических изданиях Новосибирска, выпустил две книги: «Как записывают в артисты» и «Горький привкус миндаля». Народный артист РФ. В «Сибирских огнях» публикуется впервые.

Умбра Максим родился в 1962 г. в Кемерове. Окончил физический факультет Новосибирского государственного университета. Работал инженером, программистом, редактором — в НИИ, коммерческих фирмах, газетах и журналах. Член Союза журналистов России. Живет в Новосибирске.

Яранцев Владимир Николаевич родился в 1958 г. в Калининне. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Гуманитарные науки Сибири», «Сибирские огни». Кандидат филологических наук. Живет в Новосибирске.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 25.01.2018 г. Дата выхода № 2 за 2018 г. в свет 26.02.2018 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.